
Борис Полевой
ЗНАМЯ ПОЛКА
СЛАВА СОЛДАТСКАЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"



БОРИС
ПОЛЕВОЙ

Знамя полка

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» МОСКВА 1968

ОЦИФРОВКА
ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ
DOMINAS
2015

Р 2
П 49

Рисунки
Ю. Реброва

7—6—3



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАТВЕЯ КУЗЬМИНА

Матвей Кузьмин слыл среди односельчан нелюдимом. Жил он на отшибе от деревни, в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил с собакой, со старым ружьишком за плечами в одиночку бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупитчатыми снегами на лесных проталинах начинали токовать глухари, он заколачивал дверь избенки и с внучонком Васей, сиротой, воспитывавшимся у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал там целыми неделями.

Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его: кто знает, что на уме у человека, который чурается людей, молчит и бродит по лесам, неведомо где? Да и охотничья страсть издавна не уважается в деревне. Впрочем, он справно исполнял в колхозе обязанности сторожа, и, хотя перевалило ему уже за восемьдесят, не было в округе человека, который рискнул бы днем или ночью покуситься на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым и свирепым Шариком.

Когда военная беда докатилась до озерного Великолукского края и в колхоз «Рассвет» стал на постой лыжный батальон расположившейся в округе немецкой горнострелковой дивизии, командир батальона, которому кто-то донес о мрачном, нелюдимом старике, решил, что лучшего человека в старосты ему не найти.

Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили пост. Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность старосты не принял, сославшись на годы, глухоту и недуги.

Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое он было сдал по приказу коменданта.

Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот озерный край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвинулась к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе «Рассвет», была поставлена задача без боя лесами и болотами просочиться в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею, столько раз топтавшему их своими ногами, знавшему в этих краях каждую болотнику, каждую сосенку, каждый камень в лесу, каждую тайную охотничью приметку?

Старика привели к командиру, и предложил ему офицер ночью, скрытно, провести батальон в тыл советских огневых позиций. За отказ посулили расстрел, а за выполнение задания — денег, муки, керосину, а главное — мечту охотника: двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца».

Матвей Кузьмин молча стоял перед офицером, комкая мохнатую и драную баранью шапку. Взглядом знатока посматривал он на ружье,

отливавшее на солнце жемчужной матовостью воронения. Офицер нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть, и результат всей, с такой тщательностью подготовленной операции. И вот теперь, ловя жадные взгляды, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает сейчас этот угрюмый лесной человек.

— Хорошее ружьецо,— сказал наконец Кузьмин, погладив ствол заскорузлой ладонью, и, покосившись на офицера, спросил: — И деньжонок прибавишь, ваше благородие?

—- О-о-о! — обрадованно воскликнул офицер.— Переведите ему: он деловой человек. Это хорошо. Скажите ему: немецкое командование уважает деловых людей. Переведите: немецкое командование не жалеет денег тем, кто ему верно служит.

Офицер торжествовал: найден надежный проводник! Но даже не это было для него самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых лесах, куда он попал со своим батальоном из солнечной и веселой даже в своей беде Франции, он начал как-то инстинктивно бояться этих непонятных ему людей, этой коварной природы, этих пустынных лесных просторов, где каждый сугроб, каждый куст, каждый пень мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, приходилось ложиться спать не раздеваясь и класть под подушку пистолет со взведенным курком.

Но деньги, деньги! Оказывается, даже здесь, у этих неистовых фанатиков, которые при виде наступающего врага сами сжигают свои дома, деньги имеют силу. Как испытующе смотрит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не обманывают ли его, заплатят ли ему!

— Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена. Предложите ему тысячу рублей,— торопливо добавил офицер.

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым взглядом из-под изжелта-серых кустистых бровей и, подумав, ответил:

— Мало. Дешево купить хотите.

— Ну, полторы, ну, две тысячи!

— Половину вперед, ваше благородие.

Посоветовавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгреб их со стола и небрежно сунул за подкладку шапки.

— Ладно. Поведу вас тайными тропами, какие, окромя меня, только волки знают. Скажите точно, куда выйти надо.

Ему назвали пункт, хотели показать по карте.

— Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру... Только с ружьишком-то не обмани, ваше благородие.

Видели колхозники, как шел он домой из офицерской квартиры, по обыкновению своему молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя, усмехаясь в бороду. На брань, шепотом посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой, а когда дюжий парень, бывший колхозный счетовод, догнал его и посулил красного петуха за якшанье с немцами, он только буркнул, не оборачиваясь:

— Поди матери скажи, чтоб нос тебе утерла.

Видели колхозники, издали следившие за избенкой Матвея, как через полчаса сбежал с крыльца внучонок Кузьмина Вася с холщовой сумкой за плечами, как скрылся в кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком, как вынес потом на улицу старик свои широкие, подбитые мехом охотничьи лыжи и как стал их натирать медвежьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер.

А немцы тем временем готовились к выступлению. Их командир сидел у стола и при мертвенном свете карбидной лампочки дописывал письмо своему брату Вильгельму, работавшему инженером на оптическом заводе в Саксонии.

«Милый Вилли,— писал он,— вот уже месяц, как я начал это письмо, и все не соберусь его кончить. Не потому, что у меня не хватает времени. Нет! Времени было больше чем достаточно. Последние месяцы, чтобы убить время, мы, сидя в этих проклятых лесах, повторяли все одни и те же дурацкие учения, которые нам никогда не пригодятся, так как эти русские перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких правил. Просто сегодня мы выступаем, и я хочу кончить это письмо до того, как снова испытаю судьбу...

...Поздравь меня: я сегодня, кажется, одержал большую и, признаюсь, неожиданную победу. Я нашел ключ к этой проклятой, загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот. Ничего нового, дорогой брат,—- это старый добрый ключ, который открывал нам сердца во всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, умело преподнесенные денежки, которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем, полагая, что эти советские русские — народ особенный и что тут убедительнее звучат автоматы молодцов господина Г. Ты помнишь, я тебе

писал в январе о местном патриархе-охотнике с внешностью короля Лира, с каким-то именем, которое я никак не могу запомнить (черт бы побрал эти русские имена!). Сегодня я проэкспериментировал на нем, и, представь себе, дорогой Вилли, эксперимент блестяще удался. Для виду поколебавшись, он согласился доставить нас сегодня... Ну вот, Курт уже докладывает мне, что батальон готов выступать. Прощай, любимый брат, обнимаю тебя, как прежде, а письмо, видимо, придется дописать в другой раз...»

Когда стемнело, горнострелковый батальон, на лыжах, в полном вооружении, с пулеметами на саночках, вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес.

Впереди размашистым охотничьим шагом скользил на самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась. Сеяло сухим, шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники стали видеть только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине, а они старались не выходить из его следа.

Всю ночь отряд шел по сугробам, по нехоженому насту, тянулся по оврагам, по руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по компасу, много раз останавливал шедшего впереди Матвея и через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути. Матвей неизменно отвечал:

— Шоссеек в лесу нету... Обожди, ваше благородие, к утру будем, — и напоминал о ружье.

Постепенно теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились стрелки вековым лесом, которому, как казалось, не было ни конца ни краю. В потемках они натыкались на деревья, цеплялись за кусты, наступали друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что этот невидимый лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляется за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья.

Окрики ефрейторов уже не могли собрать измученную растянувшуюся колонну.

Когда забрезжил оранжевый морозный рассвет, авангард отряда вышел наконец на опушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом.

— Ну, кажись, пришли. Матвей Кузьмин свое дело знает, — сказал старик.

Он снял с головы шапку и вытер ею вспотевшую лысину.

И пока измученные офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, пока ефрейторы гортанными криками выгоняли на поляну последних отставших стрелков в грязных, изорванных в дороге маскхалатах, Матвей Кузьмин, стоя на пригорке, улыбаясь смотрел на розовое солнышко, поднимавшееся над заискрившимися, засверкавшими полями. Не скрывая усмешки, косился он на немцев.

Утро было морозное, тихое. С сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в кустах ольшаника солидные красногрудые снегири, деловито лущившие маленькие черные шишки. Где-то совсем рядом тявкнула собака.

— Матвей Кузьмин свое дело знает,— повторил старик.

Торжествующая улыбка выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин, осветила его хмурое лицо.

И вдруг тишина была распорота сухим треском пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая над слюдой наста острые фонтанчики снега. Эхо упругими раскатами пошло по лесу. С шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей. Пулеметы строчили совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, падали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулеметы секли и секли снежную равнину, огнем своим как бы сжимая колонну с двух сторон. Опомнившись, неприятель кинулся было в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали автоматы...

Солдаты, бросив лыжи, с криками ужаса устремились назад к лесу, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Опомнившись, командир бросился к старику.

Матвей Кузьмин стоял на холмике с обнаженной головой. Его было видно издалека. Ветер трепал его бороду, развевал седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза, сузившиеся, помолодевшие, насмешливо сверкали из-под дремучих бровей. Он злорадно следил, как, будто стадо овец, метались по опушке чужие солдаты.

У офицера волосы шевельнулись под материей трикотажного подшлемника. Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел на этого лесного человека, со спокойным торжеством стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом рывком он выхватил парабеллум и навел его в лоб старику.

Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски бесстрашно:

— Хотел купить старого Матвея?.. По себе о людях судишь, фашист!..

Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, презрительно отвернулся от наведенного на него пистолета. Он заметил, что пулеметчики боятся его зацепить и не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной опушке.

Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул что было мочи, во весь голос:

— Сынки! Не жалей Матвея, секи их хлеще, чтоб ни одна гадюка не уползла!.. Матвей...

Не договорив, он охнул и стал медленно оседать на землю, сраженный пулей немецкого офицера. Но и тому не удалось уйти. Не сделав и шага, он упал, подрубленный пулеметной очередью, уткнувшись лицом в валенки старика.

А в овраге уже возникло и, нарастая, раскатывалось «ура». Через отполированную ветрами кромку перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по поляне, преследуя последних противников, посылая им вдогонку веера пуль, настигали, валили на снег, обезоруживали и бежали дальше, в покрытый снежной пеленой лес, по следам, оставленным на насте.

Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучонок старого охотника, которого тот послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый сердитый Шарик. Вдруг собака застыла, недоуменно подняв уши. И грохот боя, гулко доносившийся из леса, прорезал тоскливый, протяжный вой...

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из сельхозартели «Рассвет», что под Великими Луками, славящейся сейчас своими льнами.

Его хоронили на высоком берегу Ловати, похоронили, как офицера, с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилой, буревшей над белыми полями холмиком мерзлой земли.

В тот же вечер начальник дивизионной разведки, разбирая документы убитых, прочел недописанное письмо немецкого офицера, которое так и не получил инженер Вильгельм Штайн из Саксонии.

1942 г.



ГВАРДИИ РЯДОВОЙ

Майор — человек, по всей видимости, бывалый, собранный и, как все настоящие воины, немногословный — рассказывал о нем с нескрываемым удовольствием:

— ...И еще есть у него странность. И не странность, пожалуй, а особенность, что ли. Не может видеть живого фашиста. Я не преувеличиваю... Ну конечно, каждый из нас имеет с Гитлером, помимо общественных, и личные счеты. Всех нас он от мирных дел оторвал, тому семью разбил, того крова лишил, у того брат или отец убиты, ну, а кто, как мы с вами, побывал на освобожденной территории и своими глазами видел,

что они над нашими людьми творили, тот, конечно, особо... Однако тут дело иное. Он ну просто физически не переносит их вида. Мне раз докладывали: стоит он в очереди за супом у взводной кухни, а мимо пленных ведут. Ну, знаете, у нас народ не злопамятный, кричат им: дескать, отвоевались, голубчики! Ну, насмешки там разные, шуточки. Кто-то им хлеба дал. А он как побледнеет, как затрясется. Бойцы: «Что с тобой, чего ты?» А он с кулаками: «Не смей им наш хлеб давать, не смей!» Зубы стиснул, губы кривятся, вот-вот на пленных бросится. И потом, как провели их, все успокоиться не мог. Ушел и обеда не взял... А в другой раз целая история вышла. Назначили его в наряд — пленных караулить. Кто уж это сообразил, так я и не дознался. Он к старшине, чуть не плачет: «Освобождай, не могу!» Тот, понятно: «Что за «не могу», встать, как надо! Повторить приказание...» А он свое: «Освободите, не стерплю, перестреляю их, хоть они и пленные». Старшина в раж: «Я тебе покажу «перестреляю»! Под арест». Пошел он под арест, и как ремень да гвардейский знак с него снимать стали, он как зальется в три ручья...

Ну, тут мой комиссар подоспел, вмешался, приказ старшины отменил, знак ему сам привинтил, кое-как успокоили...

Послышался стук в дверь. Тонкий голос спросил:

— Товарищ гвардии майор, разрешите войти?

— Да, да, — ответил майор, и его хрипловатый, простуженный баритон как-то сразу потеплел.

Кто-то, невидимый в ворвавшемся со двора облаке морозного пара, вошел в дверь и, звучно стукнув каблуками, взял под козырек:

— Товарищ майор, по вашему приказанию гвардии красноармеец Синицкий прибыл.

В полумраке темной пустой избы, куда свет проникал через единственное уцелевшее, да и то на две трети заткнутое соломой окно, стоял щуплый подросток в полной военной форме. Он выглядел настоящим бойцом, только уменьшенным раза в два. Лицо у него было круглое, курносое, совсем еще детское, с пухлыми губами и нежным пушком на румяных щеках.

Но все — и то, как ловко и складно сидела на нем форма, как туго перехвачен ремнем крохотный армейский полушубок, как лихо заломлена была у него на голове ушанка, и то, как твердо держал он приставленный к ноге короткий кавалерийский карабин, — отличало в нем опытного бойца, прочно вросшего в суровый быт войны.

С виду можно было ему дать лет тринадцать-четырнадцать. Но две тоненькие, словно вычерченные иголкой по щекам, возле губ, морщинки да какой-то слишком уж спокойный для его возраста взгляд больших и чистых глаз говорили о том, что пережил он за свою жизнь уже немало, и придавали его лицу взрослое, умудренное выражение.

Майор с нескрываемым удовольствием смотрел на этого бравого маленького солдатика, стоявшего перед ним навытяжку. Теплые и веселые искорки зажглись в уголках усталых, красных от долгой окопной бессонницы глаз бывалого офицера. Но отрекомендовал он подчеркнуто официально:

— Познакомьтесь, гвардии красноармеец Синицкий Михаил Николаевич — минометчик и снайпер. Сын нашего полка... Вольно. Садись, Михаил, за стол, гостем будешь.

Мальчик сел и без особого повода, подняв меховой обшлаг рукава, взглянул на золотые часы-секундомер. Мне показалось, что он куда-то торопится.

Сын полка! Так звали в гвардейской части, которой командовал майор Куракин, этого необыкновенного маленького солдата. И с кем ни пришлось мне тогда в этом полку говорить, все произносили эти слова любовно, без шутливого снисхождения, с которым обычно взрослые говорят между собой о подростках, волею случая попавших в их среду. И все охотно рассказывали различные случаи из жизни этого маленького человека.

Вот она, история Миши Синицкого, воспроизведенная по рассказам его однополчан, после того как я снял с нее некоторые явные прикрасы и преувеличения — наивный дар бескорыстного солдатского уважения.

До войны Миша жил в деревне Ивановке, Андреевского района, Смоленской области, обычной жизнью колхозных ребят. Зимой ходил в школу, гонял на коньках по застывшей глади пруда, катался с гор на ледянке — старом, набитом соломой, залитом водой и замороженном решете. Летом помогал родителям в поле, даже зарабатывал трудодни, сколотив ребят в бригады полольщиков и сушильщиков сена, но больше всего времени, конечно, проводил на речке: ловил раков петлей на тухлое мясо и колол вилкой пятнистых пескарей на речной быстринке у парома.

Была у него детская, но вполне определившаяся страсть — любил он машины и готов был целые дни простаивать под драночным шатром эмтээсовского сарая, благоговейно следя за тем, как чумазые слесари

под руководством своего бригадира, веселого, хромоногого Никитина, возятся с машинами. А когда Никитин в знак особого расположения позволял мальчонке обтирать масло с какой-нибудь старой шестеренки с изгрызенными зубьями или доверял закрепить ключом гайки, Миша преисполнялся гордостью.

Стать механиком было его мечтой. Страсть эта зашла довольно далеко. Однажды, когда все были в поле, Миша решил даже починить остановившиеся ходики, смело разобрал их, а потом выяснил, что большинство гаечек почему-то перестало подходить к болтикам, и колесиков у него оказался излишек... В результате этого исследования по мягким местам будущего механика прогулялся отцовский ремень.

Ну, а в общем все шло хорошо, и механиком бы Миша, конечно, стал, но помешало непредвиденное обстоятельство — началась война. В первый же день отец Миши отправился в военкомат.

— Смотри, Михаил, один мужик в доме остаешься. Береги баб-то, — полушутя, полусерьезно говорил отец, вскакивая на одну из телег, в которых колхоз отправлял в район мобилизованных.

И в самом деле, остался Миша за старшего при хворой матери да двух маленьких сестренках. Издали война не очень пугала. Не тронула она на первых порах и колхозных достатков, накопленных за последние годы. Ребята по-прежнему, не слишком загруженные делами, бегали по окрестности, играя в красноармейцев и фашистов, причем фашистами никто, понятно, быть не хотел, — ими становились по жребию, и красноармейцы в два счета разбивали их в пух и прах.

Миша Синицкий издали следил за этими играми, тщательно скрывая свой к ним интерес.

— Недосуг мне: хозяйство мужского глаза требует. Женщины, они что, на них какая надежда! — говорил он солидно одногодкам, звавшим его «воевать Гитлера».

Но однажды — и это случилось неожиданно скоро — война придвинулась к Ивановке. Это была уже не игра. Сначала по большаку тянулись бесконечные колонны беженцев, машины, подводы, груженные скарбом, гурты пыльного голодного скота. Этот печальный поток нес с запада вести одна другой удивительнее — о каких-то танках, не знающих преград, о ревущих самолетах, уничтожающих все и вся. Потом появились и самые эти самолеты. Они скользили вдоль большака, обстреливая беженцев, и колхозникам пришлось закапывать трупы убитых авиабомбами.

Вдали нестрашно, точно летний гром, загромыхала артиллерия. Прошумел слух о прорыве немцев где-то у Витебска, потом потянулись войска. Шли они не в ногу, без строя, рассыпанными, усталыми колоннами. На солдатах просоленные гимнастерки. Лица черны от пыли. Бойцы торопливо шли деревней, сердитые, неприветливые, ни на кого не глядя, не отвечая на расспросы. В этот день из колхоза на восток погнали стадо. Миша вызвался было в поводыри, да столько оказалось добровольцев уходить в тыл, что его и слушать не захотели, И мать все еще хворала, сестренки были мелки. Словом, Миша остался. На следующий день по шоссе уже ползла колонна чужих танков и машин, окрашенных в цвет щучьей чешуи, и цвет этот всем казался зловещим.

В этот день в Ивановке ничего особенного не случилось. Залетело ненадолго несколько мотоциклистов в рогатых касках, в смешных коротеньких куртках и нескладных каких-то сапогах с куцыми широченными голенищами. Солдаты напились у колодца, о чем-то полопотали между собой, а потом принялись с хохотом носиться по деревне за курами и гусями, причем били они их каким-то новым, неизвестным способом — тонкими хлыстиками по голове, да так ловко, что курица или гусь с одного удара валились на спину. Нагрузив птицей полные прицепные колясочки, все так же перемигиваясь и похохатывая, немцы с треском умчались, и по деревне пошел говор, что не так страшен черт, как его малюют. Появилась надежда, что удастся как-нибудь потихоньку перебедовать, пока Красная Армия соберется с силами.

Старики вспоминали ту германскую войну, говорили, что верно — и тогда немец был охотник до птицы, однако хлыстиков таких у него еще не было, и что действительно, должно быть, в фашистской армии техника куроедства куда выше, чем в кайзеровской. Мальчишки же, которые поменьше, изучив за этот первый вражеский визит начатки новой немецкой речи, твердили на все лады: «Матка, курка! Матка, яйка!»

Дней десять ползли по шоссе машинки, машины, машинищи. Потом фронт ушел на восток, канонада стихла, и деревня узнала по-настоящему, что такое фашизм и что такое неволя.

Вместо немцев в униформах цвета болотной ряски приехали на машинах немцы в черных мундирах, и Миша Синицкий за несколько дней увидел столько и такого горя, какого, не случись войны, не увидел бы никогда. Он видел, как при народе, специально согнанном за околицу, расстреляли фашисты трех человек неизвестную девушку, Ми-

колаича — безобиднейшего старика, выполнявшего обязанности инспектора по качеству, и любимца Миши — хромоногого эмтээсовского бригадира Никитина. Никитин стоял у сарая связанный и не переставал сулить палачам страшные кары и разносить в пух и в прах и фашизм и Гитлера, пока не упал на траву, простреленный автоматной очередью. Потом солдаты зарезали быка-производителя Ваську, за которого колхоз получил золотую медаль на сельскохозяйственной выставке. Из крестьянских домов были под метлу изъяты все найденные запасы, а заодно из сундуков исчезла и вся сколько-нибудь годная к носке одежда, какую люди не успели закопать. А когда началась зима и снег покрыл печальные неубранные поля с космами побуревшей несжатой ржи и с черной картофельной ботвой, солдаты выселили крестьян из их изб.

Мать Миши не хотела покидать жилье. Поселившийся у них очкастый немец взял ее за плечи и вытолкал из сеней, да так, что она, поскользнувшись на ступеньках, упала лицом в сугроб.

Миша перевел ее и сестренок на огород, в просторную щель, предусмотрительно вырытую еще отцом в первые дни войны на случай бомбежек.

Устроив своих в земляной норе, утеплив ее сверху соломой, дерюжками, старым тряпьем, выдолбив в земле очаг и натаскав хворосту, Миша, ничего никому не сказав, исчез из деревни. Он пошел искать партизан, о которых много и со страхом лопотали стоявшие в деревне немцы. Что делали партизаны, деревня пока еще не знала, но страх перед ними у оккупантов был так велик, что солдаты стали на ночь заставлять ворота дворов телегами, санями, а окна заваливали всяческим домашним скарбом. Не зная ни явок, ни базы, маленький колхозник несколько дней проскитался в лесу и, хотя это может показаться невероятным, нашел-таки партизан. Среди них оказался колхозный агроном, два учителя и слесарь из МТС — словом, знакомые ему люди.

Попав к своим, обессиленный, полузамерзший Миша, едва придя в себя, принялся рассказывать партизанам о гестаповских бесчинствах, о малочисленности гарнизона и о паническом страхе немцев перед партизанской местью. В эту же ночь он сам привел отряд в Ивановку. Налет удался. Не многие из незваных постояльцев ушли живыми. Отряд вернулся в лес, увезя богатые трофеи.

Был уже студеный декабрь. Трещали морозы. Разгромленные под Москвой немецкие части отступали по глубоким снегам. По шоссе мимо

деревни, по широким, прокопанным в снегу траншеям дни и ночи непрерывно двигались на запад колонны госпитальных автофур. Отступающим было не до партизан, и случай в Ивановке сошел безнаказанно.

Но вскоре в деревне стала на постой большая саперная часть, начавшая строить у шоссе укрепленную полосу. Опять население выгнали из изб в бункера, опять начались поборы. Это были опытные оккупанты. С помощью собак отыскивали они на задворках и на огородах ямы с закопанным добром, раскапывали их, отнимали у жителей последнее, что оставалось. Они уже утратили былой лоск, бродили по деревне в валенках, шубах, напяливали поверх шинелей все, что могло греть. Окрыленный первым успехом, Миша решил снова привести партизан. Но все не было случая. Оккупантов теперь стояло в деревне много, да и бдительнее они стали: выставили посты, караулы, секреты, а темными ночами непрерывно жгли ракеты, и трепетные, мертвые белесые огни до самого утра метались над полями.

Но вот подвернулся и случай. Подошло немецкое рождество. Немцы с утра побрились, приоделись. Из тыла приехала машина. На ней привезли в бумажных мешках тюки с подарками и какие-то сделанные из картона складные елки, украшенные блестками и ватой. Солдатам выдали дополнительные порции рома, и они, выгнавши женщин с детьми на лютый мороз, в обледенелые земляные ямы, уселись за столы, на которых стояли эти эрзацдеревья, пристроили под елки фотографии своих жен и детей, запели рождественские песни.

Вот в этот-то момент партизаны и ударили по деревне. И опять оккупанты бежали, впопыхах оставив незаведенные машины и богатый саперный инвентарь. Партизаны машины эти сожгли, а инвентарь разломали. Рождественские же подарки командир отряда, коммунист-учитель, преподававший когда-то Мише историю, велел раздать тем из женщин, у кого были маленькие дети. Темной морозной ночью Миша ходил по дворам с бс/льшим мешком, распределяя подарки немецкого рождественского деда, переадресованные партизанами.

Вот тут-то осторожный мальчик и сплоховал, выдав свою связь с отрядом. Когда наутро нагрянули каратели, уже знакомые ему немцы в черном, называвшие себя эсэсманами, и опять начались аресты и пытки, кто-то, должно быть, сказал про Мишу Синицкого. Мальчик успел ускользнуть, но эсэсманы схватили его мать, сестренок, всех его близких и дальних родичей заперли в погребе, где в счастливые колхозные времена хранился слив молока с молочнотоварной фермы.

его. Он бросился на кирпичный осклизлый пол, колотя его кулаками, обливаясь злыми слезами, никому не отвечая, не слушая ничьих утешений. Потом стих, смолк, забился в угол, как затравленный зверек. Мать баюкала младшую сестренку, грея ее своим телом. Ровно и гулко раздавались шаги часового, ходившего по погребице из угла в угол. Кто-то надсадно кашлял, надрывая отбитые легкие.

«Дурак!.. Какой дурак!.. Поверил! Кому поверил!..» — неотвязно думал Миша. Людей сломил тяжелый сон. Знакомо всхрапывая, спала мать, привалившись к стене; почмокивала губами спавшая у нее на коленях младшая сестренка. Хрупал снег под сапогом часового. Где-то наверху выли, звенели цепями псы.

А Миша не спал, кляня себя, мучаясь своим бессилием, и, вспоминая эсэсовского начальника со стальными зубами, стонал от бессильного гнева и тоски. Может быть, в эти часы и легли навсегда две горестные морщинки на его румяном лице, покрытом ребяческим пушком.

И вдруг под утро совсем рядом послышалась ружейная стрельба. Подвал мгновенно ожил. Все сбились в кучу, прижались друг к другу. Стрельба становилась слышней. Над головой грохнула автоматная очередь. Что-то упало, и стало тихо. Потом по погребице кто-то прошелся, мягко ступая, глухо стукнуло отброшенное тело, открылся люк, и глаза Миши резанул острый голубой свет зимнего утра.

— Эй, там, живые-то еще есть? — спросил взволнованный задыхающийся голос...

Произошло все это в дни первого зимнего наступления Красной Армии, в бурные боевые дни, когда бывало, что за ночь фронт отодвигался на запад на десятки километров. Гвардейский полк, наступавший по шоссе, ворвался в Ивановку и неожиданно освободил Мишу и его родственников. Когда в деревню вернулась Советская власть и мальчик мог уже не беспокоиться о судьбе матери, он пристал к гвардейской лыжной части, освободившей его деревню. Его не хотели брать, убеждали вернуться домой, гнали прочь. Он дошел до майора, и тот, узнав от солдат биографию Миши, разрешил зачислить его на довольствие.

Мише сшили форму, выпросили для него у кавалеристов коротенький карабин, и стал Михаил Синицкий гвардии красноармейцем, участником всех боевых дел своего лыжного батальона, несущим наряду со всеми походные тяготы. Его определили в минометный взвод. Наблюдательный, усидчивый, толковый, питавший издавна страсть к механиз-

мам, он быстро усвоил несложную технику минометного дела и вскоре получил значок «Отличный минометчик».

Но минометчику не каждый день приходится бить по врагу. Ненависть же у этого маленького бойца была так жгуча и неиссякаема, что не давала ему покоя. Оставаясь минометчиком, он подружился со снайперами. В свободные от боев дни он в белом халате, им самим обшитом еловыми ветками, до рассвета выходил на опушку леса и устраивался где-нибудь на кромке передовой, поближе к неприятельским позициям. Хитро замаскировавшись, он ждал, ждал часами, ждал иногда весь день, до рези в глазах всматриваясь в снежные просторы. Он выжидал, пока на дорожке не покажется фигура противника, вылезшего из блиндажа на воздух. Тогда Миша весь инстинктивно подбирался, ловил ее в прицел, замирал затаив дыхание, срастаясь в одно целое с коротеньким карабином. Выстрел — и, точно споткнувшись, противник падает. В такой день Синицкий являлся в роту напевая. Его звонкий мальчишеский смех раскатывался и звенел, такой чуждый и странный в суровой окопной обстановке.

Но случались неудачи. Однажды Миша пришел с «охоты» мрачный, молча бросился на нары, уткнулся носом в изголовье и стих. Стали его расспрашивать, что с ним, чего заскучал. Оказывается, выследил он офицера в высоковерхой фуражке, в шинели с меховым воротником. Он напомнил ему того, с металлическими челюстями, что смеялся над ним в школе, когда пришел он сдаваться.

Миша прицелился особенно тщательно. Он весь окаменел. Но в момент выстрела наст просел у него под локтем, и он промахнулся. Офицер оглянулся и, уронив впопыхах фуражку, спрыгнул в окоп. Забывшись от злости, снайпер выстрелил в фуражку. Второй выстрел обнаружил его. Его заметили. По нему открыли частый огонь. Миша слушал свист пуль над головой и, не думая об опасности, бранил себя всеми известными ему ругательствами. Такая цель! Прозевать такую цель!

И, вспоминая об этом, Миша вдруг зарыдал, зарыдал совсем по-детски, вытирая глаза кулаками.

Однажды в деревню, где разместились отведенные на отдых лыжники, заехал командующий фронтом, прославленный советский полководец, направлявшийся на свой наблюдательный пункт. Шофер притормозил у колодца, чтобы залить воды. Генерал вышел размяться и тут увидел гвардии красноармейца Михаила Синицкого, направляющегося с котелком в кашеварку, расположенную через улицу.

Командующий окликнул его. Синицкий не оробел, представился ему по форме — да так весело и лихо, что сразу завоевал сердце старого советского воина. Командующий спросил Мишу, кто он и что здесь делает, и, получив толковый и обстоятельный ответ, приказал порученцу записать Мишину фамилию и часть. Радиатор залили водой, генерал уехал. Отдохнувшие лыжники снова пошли в бой, и Миша забыл встречу в деревне. Но вдруг приходит из дивизии шифровка. Гвардии красноармейца Синицкого Михаила с вещами и аттестатом под ответственность командира батальона требовали доставить в штаб фронта. Разъяснялось в ней, что по приказу командующего его направляют в тыл учиться...

Но на этом не закончилась военная история гвардии красноармейца Синицкого. Некоторое время спустя командующий фронтом вечером, сопровождаемый охраной, задумчиво шел по штабной деревне, возвращаясь после разговора по прямому проводу. И вдруг, вывернувшись прямо из-под ног бойца охраны, перед ним возникла маленькая фигурка в складном военном полушубке. Она вытянулась, щелкнула каблуками и звонким голоском четко отрапортовала:

— Гвардии красноармеец Михаил Синицкий. Разрешите обратиться, товарищ генерал-полковник.

Командующий был доволен результатом окончившихся переговоров. Он сразу узнал мальчика и, удивленно глянув на него, ответил:

— Ну, обращайтесь. Прежде всего доложите: откуда вы здесь взялись? Как сюда попали?

Маленький солдат только свистнул по-мальчишечьи и махнул рукой, показывая этим, что для него попасть в штаб фронта да прямо под ноги командующему — дело не слишком трудное. Генерал расхохотался и приказал бойцу Синицкому следовать за ним. В избе генерала между ними произошел разговор, который я воспроизвожу с возможной точностью с собственных слов командующего:

— Почему до сих пор не в училище?

— Разрешите доложить, товарищ генерал-полковник, хочу воевать.

— Вот выучишься, станешь офицером и пойдешь воевать.

— Да-а... тогда и война-то кончится, без меня фашиста побьют, товарищ генерал-полковник.

Командующий помолчал. На его суровом и неулыбчивом солдатском лице появилось какое-то совершенно не свойственное ему растроганное выражение, а серые глаза, взгляд которых заставлял трепетать иной раз и генералов, сузились и залучились теплым смешком.

— Стало быть, обратно в полк?

— Так точно. А после войны учиться. Я молодой, мои годы еще не вышли, товарищ генерал-полковник; а то, пока они по нашей земле ползают, мне и учеба в голову не пойдет. — И, позабывшись, превращаясь из солдата в мальчугана, он добавил: — Вы-то их не знаете, откуда вам их знать, а я-то на них нагляделся досыта.

Генерал широко улыбнулся, что тоже случалось с ним редко.

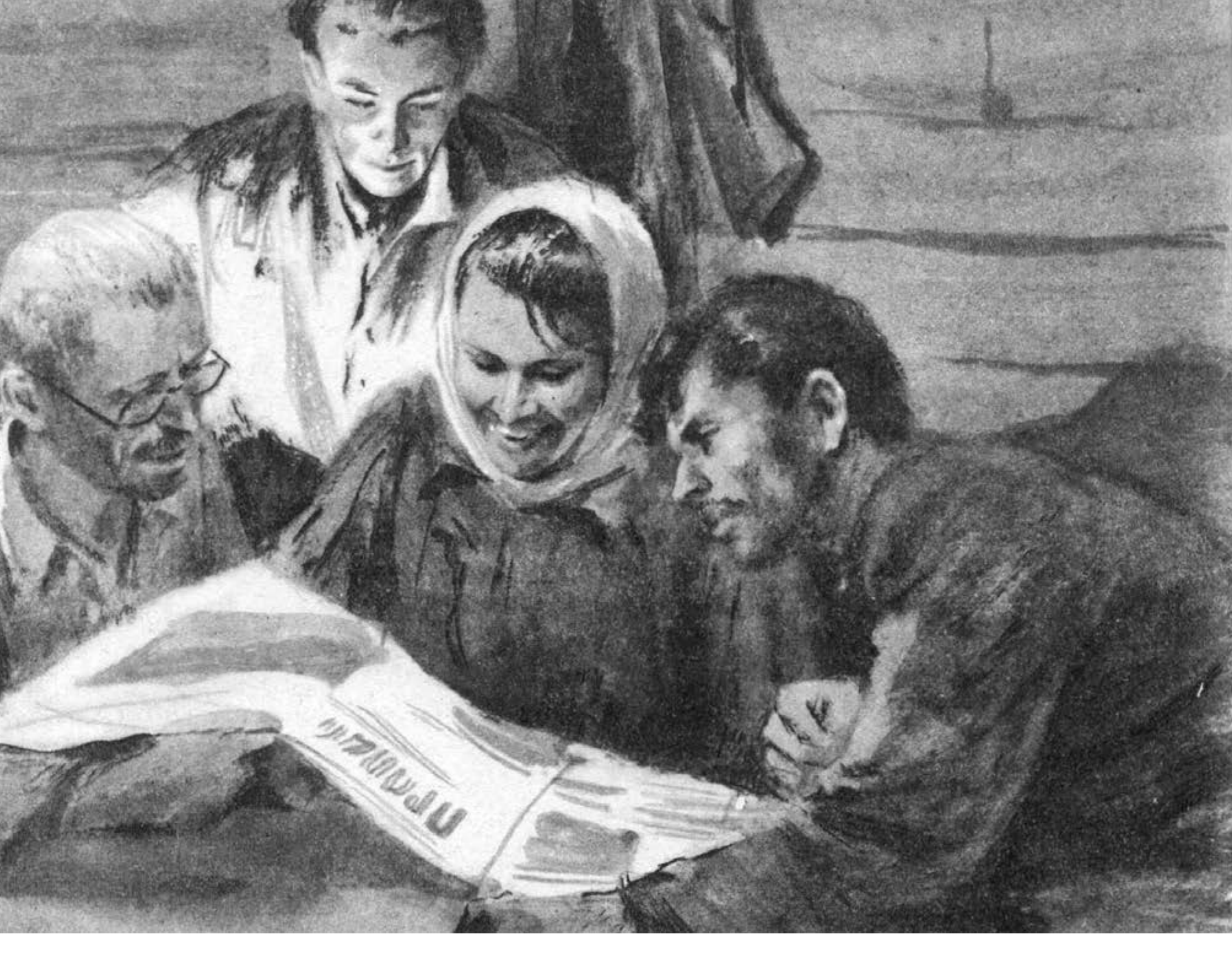
— Ну, будь по-твоему. Воюй, — сказал он, подумал, отстегнул с руки часы и протянул их мальчику. — А это тебе от меня на память... чудо-богатырь. Давай руку, сам пристегну, чтобы не потерялись.

И, оглянувшись на дверь, он вдруг обнял круглую стриженую голову мальчугана и поцеловал его в лоб, как отец, благословляющий сына на подвиг.

— Ну, ступай, воюй, — повторил он и отвернулся к карте, с несколько преувеличенной старательностью рассматривая на ней какой-то пункт.

И гвардии красноармеец Михаил Синицкий вернулся в батальон и опять стал воевать.

1942 г



НОМЕР "ПРАВДЫ"

Эту историю, похожую на сказку, историю, правдивую с начала и до конца, слышал я в лесах Холм-Жарковского района, Смоленской области, когда были они еще партизанским краем. И рассказывали ее мне партизан-подрывник Николай Федорович Сомов и сынишка его Юра, бывший ученик ремесленного училища, а в те дни — партизанский разведчик, прозванный в отряде Солнышком за круглую, вечно сияющую физиономию и огненный цвет кудрей.

— Когда фриц взял Вязьму и пер уже в Москву, родные наши места, то есть именно колхоз «Красная Ореховка», очутились сразу в глубоком немецком тылу, — начал рассказ Николай Федорович.

— Километрах в трехстах от фронта,— уточнил Юрка, паренек, как я уже заметил, деловитый, любивший во всем конкретность.

— Правильно. И не мешай мне рассказывать... Моду взял во взрослый разговор лезть! — Отец покосился на него. — Ну, а мы, значит, не растерялись, и скоро недалеко от нашей «Красной Ореховки», в самой вот этой лесной глуши, появился партизанский отряд товарища М. Фамилии пока называть не буду, не положено, да вы его и так знаете. Начали мы, можно сказать, ни с чем: одна винтовка на пятерых и та без патронов, да с ящик гранат, да бутылки эти самые с ка-эсом. Однако скоро оперились — и оружием и добришком военным разжились. Всё в бою добыли. Даже немецкую рацию захватили.

Был у нас в отряде партизан Санька, до войны в районе кино крутил, умеющий парень. Он эту рацию, значит, быстро раскусил, поковырялся в ней, что-то там исправил. «Мы, говорит, теперь, ребята, с вами не глухие и не слепые. Москву, говорит, будем слушать...» Только кто в лесах, как мы вот, повоевал, знает, что такое значит своя рация. Великое это дело! Ну, надел он наушники, а ребята стали вокруг и шеи, как гуси, вытянули: не терпится узнать, что на Большой земле, где Красная Армия воюет, как Москва. А было это, как сейчас помню, в октябре. По утрам-то уж поля от инея седели, заморозок болотца прихватывал.

— И не в октябре, а в конце октября,— поправляет Юрка.

— Ну что ты с ним сделаешь, совсем распустился парень! Сколько раз тебе долбил: не суйся, когда отец говорит, не лезь во взрослую беседу. Ступай отсюда! — рассердился Николай Федорович и, дождавшись, пока сын отошел, продолжал: — Ну, верно — в конце, а какая разница? Словом, стоим мы вокруг приемника всей гурьбой, сколько нас было, окромя часовых, конечно. Вдруг Санька поднимается, белый, губы дрожат, точно его по голове прикладом тяпнули: «Москва, говорит, ребята...» — и не докончил, сел на кочку, закрыл лицо руками да как заплачет! А детина здоровенный, аж страшно, когда такой-то плачет. Ну, все стоят и молчат. Командир трясет Саньку за плечи: «Врешь!.. Может, ослышался?.. Ну, отвечай, отвечай народу!» — «Нет, отвечает, точно. Передача, говорит, идет из Куйбышева. Сказали — оставили Москву и Ленинград, и Горький, говорят, на липочке держится, и что Красная Армия с боем планомерно отходит на рубеж Урала». Командир говорит: «Врешь, я сам слушать хочу». Садится к рации, и тут, как всегда с этим радивом бывает: в самый нужный момент треск, шум, не разбери-поймешь — и передача кончилась.

Что мы тогда пережили в этот день, и сказать нельзя. Ходим, и каждый будто только мать похоронил. Шутка сказать — эдакие вести!

Вечером, когда по часам-то вечерние известия полагались, командир говорит Саньке: «Настрой свою машину и катись к черту». Сам за наушники сел. Слушал, слушал, потом встал, ничего не сказал, ни на кого не глянул, и все мы поняли: худо...

А немцы к тому времени по деревням развесили листы свои к партизанам: дескать, напрасно воюете — Москва и Ленинград пали, Горький и Иваново в наших руках, остатки Красной Армии отходят за Урал; дескать, дело ваше пропало, складывайте оружие, выходите из лесов — и вам ничего не будет. Верить им, понятно, никто не хотел. Как же это, скажите на милость, поверить, что Красная Армия разбита?! А тут это радиво из Куйбышева...

— Да не из Куйбышева, а из Кенигсберга,— нетерпеливо врывается в разговор Юрка, незаметно опять подошедший к нам и ставший за спиной отца.

— Это верно, но это-то мы потом узнали, а тогда и невдомек, что немцы нам голову морочат: вроде и часы те же, и голоса у читальщиков знакомые. Да-а-а... Ну ладно, от таких, значит, вестей живем мы все точно под топором. И вот тогда-то как раз вышла одна наша бабешка-колхозница, вдова Катерина Васильевна Жаринова, к себе в огород белье повесить. Вышла и смотрит: лежит на снегу газета. Развернула. Вроде знакомая газета — «Правда». И фотография на первой странице подходящая: Мавзолей, на Мавзолее, как полагается, все политбюро рядком, а перед Мавзолеем народ, войска маршируют... Когда такой? Да сейчас вот, Седьмого ноября... Газета, выходит, свежая. Что такое?

Схватила вдова Жаринова эту газету и прямо без памяти — в избу, сует дочери: «Читай, читай, дочка, скорее: что тут пишут?» Дочь читает, глазам не верит: верно, парад в Москве. И заголовок на всю страницу: «Захватчикам жить осталось недолго».

Тут соседка к Жариновым сунулась за сковородкой или еще за каким женским делом. Снова все перечитали. Вечером в избу повалил весь колхоз.

Газета по рукам ходит, рассматривают ее, как диковинку какую, руками щупают, ей-богу. Настоящая, самая обыкновенная, можно сказать, родная, привычная. И такая тут радость в людях поднялась, и сказать невозможно! Вечером из деревни к нам в отряд связной прибежал. Пот

с него градом, мокрый, как суслик, кричит: «Ребята, радость! Бабешки свежую газету «Правду» нашли! Парад, говорит, на Красной площади был. Оккупантов всех бить к чертовой матери будем!» — и все такое.

Ну, всех словно живой водой сбрызнули. Послали людей за этой самой газетой, притащили ее в отряд, разложили громадный кострище, собрали возле него весь народ и всю-то ночь газету ту вслух читали, от передовой статьи до самого последнего объяснения московского коменданта. Только одним прочтешь, хвать — новые подошли, читай сначала. И новые слушают, и старые не отходят. Ведь у нас тогда от немецкого радива все уши завяли. Мы по настоящему-то, по правдивому слову стосковались.

Те, кто помоложе, у кого память посвежей и статью и речь назубок вытвердили в эту ночь. Он вон, Юрка, и сейчас вам еще, поди, слово в слово перескажет, только спроси... Да ладно, не надо, так поверят, уж и рад!..

Ну, так и пошла эта весть о найденной газете от одного к другому на много верст. И стали дальние-то деревни тайком от немцев ходоков выделять, и ходоки эти иной раз по сто верст шагали к нам в «Красную Ореховку», чтобы газету почитать. На немецких плакатах со всякой там брехней углем стали выводить: «Вранье».

Посветлело у людей на душе. Нет, нашу Советскую власть не свалишь! Ну, и наши партизанские дела пошли веселей. Народ к нам косяками пошел. Только со своим оружием, да и то с разбором, принимать стали.

Немцы обеспокоились. В чем дело? Что такое? Нашлась у нас одна сволочь: Павлов Петр, первеющий на весь район был ворюга, сидел не раз... Так вот и донес он на Жаринову. Дескать, газета такая у ней завелась, что людям головы мутит. Ну, эсэсманы на грузовике прикатили — человек пятнадцать, при пулеметах. Вломились к Жариновой в избу. Где газета? Подавай газету! Стоит Катерина перед ними белее савана: «И о чем вы спрашиваете, не знаю, ни о какой газете не ведаю». Стали спрашивать: «А зачем к тебе люди со всей округи ходят?» И тут Катерина не растерялась. «А я, говорит, лекарственные травы собираю. Врачей-то, говорит, вы всех угнали, вот, говорит, и лечу людей хворых, они и ходят».

Складно соврала, да ей не поверили. Должно быть, этот Павлов Петр им все данные выложил. Да и, видать, очень уж немцев газета эта допекла. Да-а-а... Мучили Катерину долго. Руки выламывали, волосы

по прядке дергали,— словом, фашисты! Плачет она и не сознается: «Хоть убейте, ничего не знаю». Вывели ее на огород. «Говори, где газета, а то хату спалим». Запирается Катерина Васильевна: «Жгите, ничего мне не известно».

Голос у Николая Федоровича дрогнул, сорвался. Партизан отвернулся, сделал вид, что поперхнулся табаком, стал тереть ладонью глаза.

— Чертова махорка, горлодер проклятый, не табак, а сущий уксус!.. Так вот, сожгли они избу, а напоследок и ее застрелили. А газета-то была у баб спрятана на огороде, под приметным камнем возле ветлы. Дочка вдовы — тоже Катя по имени, — теперь она у нас в отряде сестрой милосердной; если хотите, мы ее сейчас покличем, — так вот она ночью пробралась на тот огород, газету из-под камня достала и принесла ее к нам.

И опять пошла «Правда» ходить по людям. Обветшала вся, обтрепалась. Мы ее по сгибам да по уголкам промасленной бумагой оклеили и продолжали по колхозам читать.

Ну, а силы у нас партизанские все росли, это само собой. Немец к тем дням всех солдат под Москву оттянул, потому что ему там лихо стало, а по деревням в гарнизонах так — старичье разное осталось, самый последний разбор. И вот в одночасье ударили мы на его гарнизоны, всех их там переколотили, округу нашу очистили, и организовался у нас этот самый партизанский край, куда сейчас фриц без танка и носа сунуть не смеет. Ну, это вы все сами знаете, об этом говорить нечего.

Я о газете. А газету ту командир наш спрятал. «Сохранять, говорит, буду, потому, говорит, исторический документ. Фашистов, говорит, расколотим и газету эту в самый что ни на есть важный музей повесим. Пусть, говорит, потомки дивуются, какие у нас во время войны газеты были».

— Ну, и где же она?

— Вот где — это сейчас вопрос. Хранил ее наш командир, можно сказать, как зеницу ока, газету эту, потому он, командир-то наш, был до войны партийным секретарем и в таких делах понимал что к чему. Однако раз прислал к нему из соседнего района командир отряда своего разведчика. «Давай, пишет, газету нам. Для тебя это — исторический документ, поскольку вы, значит, уже освободились, а мы, пишет, еще под немцем, она нам еще как оружие боевое». Ну, делать нечего, отдали им эту газету под расписку, и пошла она опять гулять по людям.

— Ну, а теперь где она?

Николай Федорович разводит большими узловатыми, оплетенными веревками вен руками, трудовыми руками колхозного кузнеца, с которых даже тут, в лесу, не отмылись копоть и металлическая гарь.

— Вот уж это и не могу сказать. Потеряли мы ее след. Теперь уж и район, где действует тот командир, что у нас газету выпросил, тоже освободился, тоже партизанский край. Меня туда по делам посылали, трофейную пушчонку лечить, ну, заодно командир наказывает: «Газету у них забери, я, говорит, ее обязан на Большую землю отослать». Спрашиваю: «Где газета? Гоните назад!» А товарищ Н. ихний говорит: «Спохватились! Да еще в декабре приходили ко мне ребята из-под самого аж из-под Бобруйска, мы им и отдали».

Николай Федорович ухмыляется. Зубы у него белые, крепкие. Лицо, освещенное улыбкой, молодеет.

— У нас по деревням про ту газету сказки говорить начали. Ей-бо!.. Будто бросили эту газету немцы в огонь — не горит, ножом ее резали — не разрезали. Осерчали они, скомкали ее, заложили в орудийную гильзу и — бах! И, говорят, будто она, газета-то, от этого не только не пропала, а стало их целый миллиён.

— Брехня, — солидно обрывает Юрка. — Бабьи сказки!

Николай Федорович смотрит на сына, маленького, крепкого, задиристого.

— А вот и не брехня. Скажешь, плохо мы сейчас с Большой землей связаны? Мы, дорогой товарищ, теперь и «Правду», и «Известия», и вон ихнюю «Комсомолку», и всякие иные даже, почту каждую неделю получаем. И хоть читаем мы газеты с опозданием недели на две, однако все знаем — и как вы там живете, и что делаете, и как союзнички за Ламаншей себе затылок чешут, и как Красная Армия наступает и бьет немца по всем фронтам.

Партизан крепко и ласково хлопает по плечу сына. Тот пошатывается от этих ударов, но упрямо стоит.

— Что, скажешь — не так? А то — «бабьи сказки»!.. Их тоже понимать надо, сказки-то, Ерш Ершович.

1942 г



МЫ - СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

На вид этой девушке можно дать лет девятнадцать. Была она тоненькая и легкая. Смуглое лицо не потеряло еще детской припухлости, а глаза, широко распахнутые, большие, ясные, опушенные длинными ресницами, смотрели так весело и удивленно, как будто спрашивали: «Нет, в самом деле, товарищи, кругом действительно так хорошо или мне это кажется?»

И лишь мудреная высокая прическа, в которую были собраны обильные темно-каштановые волосы, как-то портили этот светлый облик, точно фальшивая нота чистую, хорошую песню.

Одета она была в цветастое платье, золотая цепочка обвивала ее высокую загорелую шею, на которой гордо сидела милая юная головка.

Должно быть, сама поняв, что очень уж выделяется среди людей в выгоревших, добела застиранных гимнастерках, среди обветренных лиц, покрытых темным походным загаром, она набросила на плечи чью-то большую шинель и, несмотря на жару тихого и душного августовского вечера, так и сидела в ней на завалинке чистенькой беленой украинской хатки.

Ее глаза с необыкновенной жадностью следили за жизнью обычной штабной, ничем не примечательной деревеньки. С одинаково ласковым вниманием останавливались они и на ржавых, промасленных комбинезонах шоферов, рывшихся в тени вишенника в моторе опрокинутого вездеходика; и на военном почтаре в сбитой на ухо пилотке, с пузатой сумкой через плечо, что прошел мимо нее с тем же торжественно значительным видом, с каким ходят только военные почтари, неся большую порцию свежей корреспонденции; и на начальнике разведки, тучном, но туго перетянутом ремнями полковнике, который, заложив руки за спину, скрипя сверкающими сапогами, расхаживал взад и вперед за плетнем садика, весь поглощенный своими думами; и на бойцах штабной охраны, сидевших за хаткой в пыльной мураве и по очереди читавших друг другу только что полученные письма из дому.

— Я, как изголодавшаяся, гляжу, гляжу — и не могу наглядеться. Нет, вам этого чувства не понять. Это понятно только тем, кому приходится надолго отрываться от своих, от всего, что привычно, дорого, мило, и с головой окунаться в этот чужой, паучий мир! — сказала она низким грудным голосом.

Выражение детскости, только что освещавшее ее лицо, сразу точно ветром сдуло, и мне показалось, что она гадливо передернула плечами, прикрытыми грубой шинелью.

Как-то не верилось, что эта девушка, такая юная и беспечная с виду, имела самую опасную и ответственную из всех воинских профессий, что это та самая безыменная героиня, которая, живя за линией фронта, ежеминутно рискуя жизнью, снабжала наш штаб сведениями, помогавшими командованию своевременно разгадывать намерения противника. Разведчики — народ замкнутый, несловоохотливый. Но для этой девушки они не жалели похвал.

У нее было условное имя: Береза. Я не знаю, как оно появилось, но трудно было подобрать лучшее. Она действительно походила на

молодую белую стройную гибкую березку — из тех, что трепещут всеми листочками при малейшем порыве ветра. И ничто в ее облике не выдавало хладнокровного мужества, воли, уверенной, расчетливой хитрости, этих необходимых качеств человека ее профессии. Вероятно, это-то и обеспечивало неизменный успех, сопутствовавший Березе при выполнении ею самых сложных заданий.

Взяв с меня слово, что я никогда не назову ее настоящего имени, полковник, начальник разведки, рассказал мне ее военную биографию.

Единственная дочь крупного ученого, она выросла в патриархальной семье, получила отличное воспитание, училась музыке, пению, с детства одинаково чисто говорила на украинском, русском, французском и немецком языках. Когда разразилась война, она уже заканчивала университет. Увлекалась филологией, западной литературой времен Ренессанса и даже опубликовала под псевдонимом в одном из академических изданий работу о драматургии Расина — работу полемическую, интересную, обратившую на себя внимание в научных кругах.

Вопреки воле родителей, в начале войны она отложила подготовку к государственным экзаменам и пошла на курсы медицинских сестер. Она решила ехать на фронт. Но кончить курсы не удалось: враг подошел к ее городу, а окраины его стали фронтом. Некоторое время она вместе с подругами по курсам выносила раненых с поля боя, работала в эвакоприемнике. Враг окружал город. Был дан приказ об эвакуации. Родители настаивали, чтобы она обязательно ехала с ними.

— Есть старая истина: кому много дано, с того много и спрашивается, — убеждал ее отец.— Собирать раненых может каждая девушка, а на твое обучение государство затратило огромные деньги. Ты знаешь языки, как знают немногие. Ты обязана принести государству гораздо большую пользу там, в тылу.

Девушка знала, что отец хитрит. Он не мог так думать. Но ей не хотелось на прощанье обижать стариков, и она мягко сказала:

— Папа, я слышала, что сейчас даже каркас Дома Советов переплавляют на снаряды и танковую броню. Мы должны победить любой ценой. Сейчас не до мелочной расчетливости.

В эвакуацию она не поехала. Но слова отца заставили ее задуматься. Да, она знает языки и наверное может принести родине на войне большую пользу, чем ухаживать за ранеными. С этой мыслью она пошла в районный комитет партии.

Это были последние часы перед эвакуацией города. Усталые, до смерти измученные, подавленные горем люди жгли в печах бумаги. Входили и выходили вооруженные дружинники из рабочих батальонов. Сердито звонили телефоны. Было не до нее. Никто не хотел слушать эту тоненькую, красивую, хорошо одетую девушку. Но тут у нее, обычно робкой и деликатной среди чужих, впервые проявился ее характер. Кого-то обманув, от кого-то отшутившись, кого-то попросту оттолкнув с дороги, она пробилась в кабинет секретаря райкома, назвала свою довольно известную в городе фамилию и заявила, что отлично знает языки и просит дать ей какое-нибудь военное задание.

— Что, что? Вы дочь профессора Н.? Почему не уехали? — сказал секретарь райкома, с трудом отрываясь от тяжелых эвакуационных забот, и внимательно просмотрел ее документы.

Вдруг, что-то вспомнив, он спросил ее:

— Вы знаете немецкий?

— Как свой украинский.

Секретарь райкома еще раз с сомнением осмотрел тоненькую юную фигуру, ее лицо, в котором было так много детского.

— Задание может быть очень сложным и, прямо скажу, опасным.

— Я согласна.

Он попросил всех выйти, взял трубку полевого телефона, стоявшего у него на столе, и назвал какой-то номер.

— Вы слушаете? Это я, у меня нашлась подходящая кандидатура,— обратился он к кому-то. — Да, немецкий, отлично. Вполне подходит, я знаю ее родителей. Замечательные, преданные люди. Сейчас ее к вам пришлю. Предупреждал и предупрежу еще. — Он положил трубку и опять, теперь уже с ласковым вниманием, посмотрел ей прямо в глаза: — Хорошо, свяжу вас с одним товарищем, который остается здесь для подпольной работы. Но вы, наверное, не представляете, что вас ждет. Вам все время придется рисковать жизнью.

— Я прошу вас, не теряйте попусту времени, я вам уже ответила,— сказала девушка.

И вот дочь ученого осталась в городе, оккупированном неприятелем. В немецкую комендатуру донесли, что ее забыли при эвакуации.

Она была не единственной, оставленной в городе для подпольной работы, но именно ей поручили самое сложное, самое опасное задание. Иные должны были следить за оккупантами и предателями, иные получили задание взрывать склады, портить паровозы, иные охотились

за фашистскими чиновниками. Береза, по заданию подпольного комитета, должна была изображать кисейную барышню, дочь знаменитых родителей, преклоняющуюся перед Западом и не пожелавшую расстаться во имя каких-то чуждых ей идей с комфортом, бросить все и ехать в неизвестность на восток. В огромной квартире профессора поселился немецкий полковник. Ему сразу приглянулась молодая хозяйка квартиры. По вечерам она играла на рояле Вагнера, читала по-немецки стихи Гете. Полковник ввел ее в круг своих друзей — штабных офицеров, собиравшихся у него, познакомил с начальником — генералом.

Украинская фрейлейн имела успех. Дочь профессора и, как намекал полковник, потомок каких-то украинских магнатов, она выгодно отличалась от вульгарных, крикливых, жирных нацистских дам их круга. Офицеры всячески старались ей угождать, и никому из них не приходило в голову, куда ходит эта прелестная девушка, «потомок магнатов», дважды в неделю, забрав с собой пестрый зонтик, уличную сумку и книжку фюрера «Майн кампф», подаренную ей Полковником с его собственноручной надписью.

А она шла в окраинную слободку, расположенную за рекой, входила в квартиру сапожника, помещавшуюся в беленой хатке, вынимала из сумки изящные туфельки со стоптанными каблуками, ставила их на верстак, заваленный сапожным хламом и, убедившись, что никого нет, выплакивалась на груди бородатого старика «сапожника» слезами гнева, злости и омерзения. Тут, в чистенькой хатке, стоявшей на огородах, ее нервы, все время находившиеся в предельном напряжении, не выдерживали. Кокетливая глупенькая барышня, изящная безделушка, умевшая беззаботно развлекать грубых, самодовольных солдафонов, становилась самою собой—советской девушкой, искренней, честной, тоскующей и ненавидящей.

— Как мне тошно! Если бы вы знали, дядько Левко, как мне омерзительно жить среди них, слышать их хвастовство, улыбаться тем, кому хочется перегрызть горло, жать руку тому, кого следует расстрелять,— нет, не расстрелять, повесить!

«Сапожник», старый большевик, работавший в подполье еще в гражданскую войну, успокаивал ее как мог. Потом в задней каморке они составляли донесение обо всем, что она видела и слышала. Пили «чай» из липового цвета с сахарином, ели холодец, соленые помидоры, простоквашу. В родной обстановке немножко отходила истосковавшаяся душа. А потом изящная девушка с пестрым зонтиком вновь поднима-

лась в город, беззаботно напевая немецкую песенку «Лили Марлен», сопровождаемая ненавидящими взглядами голодных жителей. Эти ненавидящие взгляды, необходимость молча сносить оскорбления, молчать, не смея даже намеком открыть всем этим людям, кто она, почему она здесь, за что она борется, было самым тяжелым в ее профессии.

У нее были крепкие нервы. Она отлично играла роль и приносила большую пользу. Но в конце концов нервы стали шалить. Все труднее становилось маневрировать, скрывать истинные чувства. На явках она умоляла «сапожника» отозвать ее, дать ей отдохнуть, поручить ей любое другое задание. Как об отдыхе, она мечтала о налетах на вражеские транспорты, о поджогах, взрывах железнодорожных составов, о борьбе с оружием в руках, какую вели иные подпольщики. Но в эти дни в городе обосновался штаб военной группы. Ее глаза и уши стали даже нужнее, чем прежде, и «сапожник» направлял ее обратно.

Наконец штаб выехал. «Сапожник» сказал, что еще денек-два — и она сможет исчезнуть. Но тут пришла беда. Ее квартирант, полковник, был произведен в генералы. Напившись по этому поводу, он вломился к ней ночью в комнату с бутылкой шампанского. Она влепила ему пощечину. Он только расхохотался, поцеловал ей руку и подставил другую щеку. Нет, эти чудесные маленькие ручки не могут оскорбить немецкого генерала! Да, да, он покорил шесть стран, он воюет теперь в седьмой! И она — его лучший приз за годы войны! Он предлагал ей руку и сердце.

Девушка пришла в ужас, ее трясло от омерзения. Генерал ползал за ней на коленях, хватал ее за платье. Она попыталась убежать от него в другую комнату. Он вломился и туда. Он хрипел, что Советская власть агонизирует, что бои идут в Москве, что всем им здесь, на плодородной Украине, дадут богатые поместья, и она будет его женой,— хо-хо, женой немецкого помещика! И все крестьяне, которые мнили себя господами жизни и что-то там такое болтали о социализме, будут их холопами, рабочим скотом на их земле. Пьяный фашист оскорбил ее народ — и девушка не выдержала, воля изменила ей: она выхватила у него из ножен кортик с фашистским орлом, распластанным на эфесе, и по самую рукоятку вогнала его в горло новоиспеченного генерала.

Вся городская военная и штатская полиция, вся жандармерия и приехавшие в город специальные войска СС в течение месяца искали ее, перерыли каждую улицу, каждый дом, устраивали налеты, облавы. Но девушка скрылась: она благополучно перешла фронт.

Очутившись среди своих, она стала настойчиво учиться всему тому, что могло ей помочь в ее сложной и опасной работе для родины.

След дочери профессора, убившей немецкого генерала, затерялся в большом украинском городе. А через некоторое время военный комендант Харькова взял в переводчицы красивую девушку Эрну Вейнер. Судьба фрейлейн Вейнер вызвала живое сочувствие коменданта, последнего потомка зачахшей ветви прибалтийских баронов, у которого, помимо общефашистских поводов, были и свои личные мотивы ненавидеть советский народ. Эрна Вейнер рассказала шефу, что она дочь немецкого колониста, жившего на Одесщине. Отец ее владел садами, виноградниками, бахчами, держал летом сотни батраков, скупал через контору хлеб, имел мельницу. Но все это было у него безжалостно отобрано большевиками. После этого он влачил жалкое существование, но все же кое-что удалось ему спрятать, и на эти средства он дал детям образование. Потом он был арестован за симпатии к новой Германии, которые он, как человек прямой, не умел и не хотел скрывать...

Фрейлейн Эрна, потерпевшая от большевиков, скоро стала главной переводчицей в комендатуре, а затем ее перевели к начальнику гарнизона.

Новый шеф, бригаденфюрер войск СС, тоже сочувствовал бедной фрейлейн. Безукоризненный немецкий язык, умение петь старые баварские песенки, особенно нравившиеся сентиментальным палачам, игра на рояле стяжали ей уйму поклонников. «Да, старый Иоганн Вейнер даже в этой непонятной стране сумел дать детям великолепное образование!»— удивлялись они. И когда немцы обнаруживали вдруг пропажу важных документов или им становилось ясно, что советское командование знает слишком много об их тайных намерениях, даже тень подозрения не ложилась на Эрну Вейнер.

Но какой ценой девушка вырывала для родины эти фашистские тайны! Она присутствовала теперь на самых секретных допросах. При ней палачи терзали осужденных на смерть советских людей, и она должна была переводить их предсмертные вопли, их проклятия, слушать от них оскорбления. Только любовь к родине — любовь всеобъемлющая, безмерная— давала ей силы для этой работы. Но лишь связной — суровый воин, безвыходно сидевший с рацией в подвале разрушенного дома, человек, совершенно разбитый ревматизмом,— кому она приносила сведения, слышал от нее жалобы.

Бледный, как месяц в холодную ночь, еле передвигающийся, около года просидевший без солнца и воздуха, человек этот утешал ее как

мог неуклюжим, грубоватым солдатским словом и сам служил ей примером преданности великому делу. Его беспокойное мужество поддерживало девушку.

И вот за несколько недель до взятия Харькова Березу ждало последнее, самое тяжелое испытание.

О нем она рассказывала сама, сидя на завалинке хатки в погожий августовский вечер:

— Вы знаете, конечно, как они нервничали, когда войска Конева, прорвавшись у Белгорода, подходили к Харькову с востока. Боже, что там было! Муравейник, в который сунули головешку! Солдаты ничего — это, в сущности, храбрые и не такие уж плохие люди. Но посмотрели бы вы на их заправил! Они, забыв о соблюдении внешних приличий, упаковывали картины, музейные вещи, редкости, мебель — все, что они награбили и натащили. Все это посылалось в тыл на глазах у солдат. А слухи! Это был не штаб, а базар какой-то, на котором передавались слухи, один невероятнее другого. Особенно много ходило легенд о советской авиации. Говорили, что с Дальнего Востока перелетели какие-то новые огромные авиационные части. Десятки тысяч машин невиданных марок! Какое-то чудовищное вооружение. Все офицеры бегали ночевать в подвалы. Даже мне было удивительно, какими в трудную минуту они оказались малодушными, трусливыми, мелкими. И я ликовала. Утром, приходя на работу, я говорила шефу плаксивым голосом:

— Господин начальник, неужели все погибло? Ведь они меня убьют!..

Я видела, как он бледнел. Но он еще петушился:

— Что вы, фрейлейн, в Германии столько сил! Может быть, даже слишком много! Болезнь полнокровия.

Кончал же он тем, что принимался меня уверять, что при всех условиях я успею удрать в его автомобиле.

И вот однажды ночью меня будят, вызывают к нему в кабинет. Он взволнован, сияет. Поясняет: будет важный допрос, от которого зависит его карьера. Ах, если бы вы знали, как все они там думают о своей карьере! У меня похолодело сердце: кого поймали? Я знала, что харьковские подпольщики, все время державшие немцев в постоянном страхе и напряжении, особенно активизировались, и боялась, что попался кто-нибудь из них. Шеф носился из угла в угол. В кабинете шла необычная подготовка, стол накрывался скатертью, расставляли на нем вино, фрукты, сласти. Мне становилось все тоскливее. Кто же, кто? Что значат такие необычные приготовления?

— Приехал какой-нибудь господин из армии? — спросила я как можно небрежнее, усаживаясь в углу, где я всегда сидела во время допросов.

— А, чепуха, стал бы я тратиться на этих чинодралов из армии! — ответил шеф.— Гораздо важнее и интереснее! Наши сети принесли богатый улов. Сегодня прекратится проклятая неизвестность. Мы узнаем, какой сюрприз подготовили нам. Ого-го, это может спутать им все карты.

Я решила, что захватили кого-то из наших больших военных. Но, к моему удивлению, за стол сел не шеф, а его помощник, майор. Потом под конвоем в комнату внесли носилки. Их поставили у накрытого стола, солдаты с автоматами стали было у двери, но майор жестом выпроводил их. Того, кто лежал на носилках, мне не было видно. Между тем майор, напялив себе на лицо одну из самых сладких своих улыбок, попросил меня перевести «гостю», что он тоже летчик и рад приветствовать здесь храброго русского коллегу — судя по отличиям, знаменитого русского аса. Когда было нужно, он мог притвориться приветливым, даже простодушным, этот майор, один из самых омерзительных гадин, каких я только там видела. А я-то уж их повидала!

А на носилках лежал молодой, совсем молодой человек, в такой вот, как у вас, выгоревшей гимнастерке, к которой привинчены три ордена Красного Знамени и еще какие-то отличия. У него были авиационные погоны старшего лейтенанта. А его взгляд... простите... минуточку...

Девушка побледнела так, что лицо ее стало белее стены. Она тяжело дышала, кусала губу, точно перебарывая в себе острую физическую боль. Потом встряхнула головой и пояснила:

— Нервы... Ноги у него были в гипсе, голова забинтована, но из этого марлевого тюрбана на меня вопросительно смотрели большие серые, такие правдивые и такие затравленные глаза.

— Фрейлейн, переведите, пожалуйста, коллеге, что безоружный противник — для нас уже не враг, что в новой Германии понятия мужества и воинской чести интернациональны. Переведите, что в качестве... э-э-э... помощника начальника гарнизона и как летчик по профессии я буду рад выпить с ним бокал... э-э-э — нет, это будет не по-русски... чашу доброго вина.

Когда я переводила, серые глаза летчика остановились на моем лице. И столько в них было не ненависти — Нет, не ненависти, а какого-то бесконечного презрения, гадливости, что слезы обиды против воли чуть было не выступили у меня на глазах.

— Ничего я ему не скажу. Впрочем, пусть даст папиросу.

Майор засиял, вскочил и протянул ему портсигар. Летчик приподнялся на локте, взял папиросу и. жадно закурил. Они оба молчали, я слышала, как потрескивает табак. Потом майор встал, щелкнул каблуками, назвал свое имя и заявил, что желал бы знать, с кем имеет честь...

— Пусть меня унесут, — ответил летчик и отвернулся.

И сколько майор ни бился с ним, он лежал лицом к стене и молчал. Я видела, как майор нервничает, кусает губы, как он играет желваками на лице. Я боялась, что он вот-вот сорвется, и тогда... я-то знала, на что способен этот человек. Но сведения о нашей авиации, должно быть, были нужны им до зарезу, и он сдержался; он приказал унести пленного и даже пожелал ему доброй ночи. Но как только закрылась дверь, он разразился страшными ругательствами, хватил стакан коньяку и с совершенно измученным видом и блуждающими глазами бессильно бросился на диван. Вошел шеф, меня отпустили и отвезли домой.

В эту ночь я не сомкнула глаз, хотя чувствовала себя совершенно разбитой: этот летчик... его глаза смотрели на меня, и в ушах звучал его звонкий, молодой и твердый голос. Утром я хотела отправиться на явку, чтобы предупредить, что захвачен сбитый над городом советский ас, но не успела: к подъезду подкатила машина. Сам майор сидел в ней.

— Нам приказано во что бы то ни стало выудить у него все об авиации. Есть данные, что он из этих новых частей, только что прилетевших сюда. Фрейлейн, вы должны поговорить с этим проклятым большевиком. Говорите ему что хотите, только вытащите из него, что сумеете. Вас озолотят! Слово чести, вы заслужите Железный крест.

Я никогда еще не видела этого спокойного, хладнокровного карьериста-палача в таком волнении. Он так волновался, что даже проболтался, что из ставки послан авиационный генерал. И только для того, чтобы получить эти сведения... У меня не было выбора. Поговорить с летчиком один на один было нужно для дела. Необходимо было предупредить его. Но я вспомнила этот его взгляд, и мне, ко многому за эти страшные месяцы привыкшей, было страшно войти в его камеру. Вы представляете, кем я была в его глазах!

Но я заставила себя войти и, когда дверь захлопнулась за мной, даже подошла к нему. Со вчерашнего дня он еще более осунулся, похудел, глаза его раскрылись шире. Встретил он меня тем же презрительным взглядом. Мне показалось, что он даже как-то передернулся, когда я приблизилась к нему.

— Как вы себя чувствуете? Был ли у вас врач? — спросила я, чтобы как-то завязать разговор.

— У них ничего не вышло, так теперь натравливают на меня немецкую овчарку,— недобро усмехнулся он и добавил: — Тоже не выйдет.

Я вспыхнула, слезы, должно быть, выступили у меня на глазах.

Голос у него был совсем тихий, он, видимо, очень ослабел за эту ночь, но продолжал так же твердо и жестко:

— Чего же краснеешь? Продажные шкуры не должны краснеть! Вот погоди, попадешься ты к нам, там тебе пропишут.

Я едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут же перед ним на колени и не рассказать ему всего: так тяжело звучали в его устах эти оскорбления.

А он продолжал, все повышая голос:

— Думаешь, отступишь с немцами, убежишь от нас? Догоним! В самом Берлине сыщем! Никуда от нас не уйдешь, не скроешься!

И он захохотал. Нет, не нервно — у него, должно быть, вовсе не было нервов, — он захохотал зл<традно, торжествующе, как будто он победителем стоял в Берлине, верша суд и расправу, а не лежал весь забинтованный, умирающий во вражеском застенке. И тогда я бросилась к нему и зашептала, позабыв всякую осторожность:

— Они ничего не знают. Они хотят узнать от вас о каких-то новых авиационных частях. Здесь страшная паника. Они боятся, смертельно боятся. Не говорите им ничего, ни слова. Особенно опасайтесь этого вчерашнего рыжего майора. Это ужасный человек.

Отпрянув от меня, он с удивлением слушал.

— Так, — удивленно произнес он и повторил:—Та-а-ак! — Глаза у него, как мне показалось, подобрели, но смотрели зорко, изучающе. — Та-ак, бывает. — Он усмехнулся, но уже не зло; и вдруг, подмигнув мне, закричал во весь голос: — Прочь, продажная шкура! Ничего я тебе не скажу! Ни тебе, ни твоим хозяевам! Не добьетесь от меня ни слова!

Он долго кричал на всю тюрьму. Потом тихо спросил:

— Так вы?..

Я кивнула головой. Я вся дрожала, зубы мои выбивали дробь.

— Ну, успокойтесь, — произнес наконец он, — и говорите только честно: мне конец?

— Если будете молчать — расстреляют.

Мы опять испытующе посмотрели друг на друга.

— Жаль, мало я пожил... А как хочется жить!.. Ну, ступайте отсюда.

— Не надо ли что передать туда?

— У вас очень измученные глаза, я вам почти верю,— задумчиво ответил он. — Почти. И все-таки... ничего я вам не скажу. Не надо... Так лучше и вам и мне... и прощайте... — Он вздохнул и опять принялся громко поносить меня, так, чтобы это было слышно в коридоре.

Меня душили слезы. Такой человек! Такой человек! И ничем ему не поможешь... Я выбежала из камеры. Майор нетерпеливо шагал по коридору, он, вероятно, подслушивал нас, но по лицу я увидела, что он ничего не понял, кроме этих ругательных слов. Я еле держалась на ногах. Мне было все равно. Майор, бледный от злости, играл скулами.

— Не плачьте, фрейлейн, вы на службе. Как только он перестанет быть нам нужным... — Он не договорил.

Я не помню, как вышла из тюрьмы.

Девушка вздохнула и замолчала. Должно быть, нервы ее были теперь совсем расшатаны. Ее бил озноб, нижняя челюсть дрожала, лицо передергивал нервный тик. Она долго молчала.

— Мне очень трудно рассказывать, но мне хочется, чтобы вся страна узнала, как ведут себя там советские люди. Ведь об этом вы только догадываетесь. Я обязана досказать. Это мой долг. Ведь никто, кроме меня, не знает о последних часах этого человека...

После нашего разговора в тюрьме весь день я ходила в каком-то тумане. Я призывала всю свою волю, тренировку, все, что во мне было лучшего, чтобы сдержаться, не распуститься при них, при этих,— и все-таки я не смогла и, когда заговорили о нем, разревелась. К счастью, майор уже рассказал шефу о нашем визите в тюрьму, они поняли это по-своему и принялись меня утешать. А я слушала их и закрывалась руками, чтобы на них не смотреть. Я боялась, что не стерплю и сделаю какую-нибудь глупость.

Но самое страшное ждало меня впереди. Вы, наверное, знаете о нашей работе? И обо мне? Я не новичок. Но это было для меня самое тяжелое испытание. Этот самый генерал авиации, какой-то их «национальный герой», любимец Геринга, они там все перед ним на задних лапках ходили, решил сам допросить летчика. Это был высокий самоуверенный человек с румяным, каким-то фарфоровым лицом и бесцветными поросячьими ресницами. Он сам пошел в тюрьму. Его сопровождали мой шеф, майор и я. Он сразу подошел к летчику, назвал ему довольно громкую фамилию и протянул ему руку. Тот отвернулся и ничего не ответил.

— Вы плохо ведете себя, молодой человек. Я генерал, герой двух войн. Закон чести повелевает военному отвечать на воинское приветствие старших.

Я перевела эту фразу. Вероятно, генерал был хороший актер. Все они там, кто трется на фашистской верхушке, умелые комедианты. Но он говорил с такой подкупающей доброжелательностью!

— Что вы понимаете о чести? — усмехнувшись, ответил летчик.

Я перевела. Генерала это не смутило. Он только на минуту нахмурился, но сейчас же спросил:

— Может быть, с вами дурно обращались? Почему вы так озлоблены? Вы недовольны уходом, медицинской помощью? Заявите мне, я прикажу все сделать. Герой остается героем в любых обстоятельствах.

— Спросите, что ему нужно, — устало ответил летчик.

Он, видимо, очень страдал от ран, но не желал, чтобы враги заметили его страдания, и только пот, покрывший его лоб и лившийся струйками в бинты, показывал, каково ему.

Генерал явно терял самообладание.

— Скажите ему, черт подери, что у него хороший выбор. Маленькая информация об авиационных частях, о которой все равно никто из его соотечественников не узнает, и тихая, спокойная жизнь до конца войны на одном из лучших европейских курортов — Ницца, Баден-Баден, Бад-вильдунген, Карлсбад... Об упрямстве его тоже никто не узнает: могильные черви с одинаковым аппетитом жрут трупы героев и трусов.

Я перевела. Летчик деланно засмеялся:

— Переведите генералу, что он — достойный выкормыш своего фюрера.

Не найдя в немецком языке слова «выкормыш», я перевела его как «воспитанник», и, к моему удивлению, этот самодовольный тупица неожиданно просиял. Он налился важностью и напыщенно произнес:

— Это так, лейтенант правильно отметил, для меня фюрер — недосягаемый образец. — И добавил, что теперь, несомненно, они найдут общий язык — два солдата, два героя. И он спросил: — Пусть господин лейтенант, который только что показал, что он куда разумнее многих соотечественников, пусть он скажет, почему так безнадежно упрямы эти русские, почему, отступая, они сами жгут дома, почему за линией фронта не желают покоряться и продолжают безнадежную борьбу, навлекая на себя репрессии и кары, почему предпочитают умирать, не раскрывая карт, хотя и дураку ясно, что война проиграна. Почему?

Этот самодовольный болван, услышав от летчика, что он достойный ученик Гитлера, решил, что тот сказал ему комплимент и идет на все условия. Генерал расфилософствовался и явно рисовался перед моим шефом и перед майором, которых считал посрамленными.

Я сейчас же перевела летчику вопрос.

— Балда! — отчеканил он. — Потому что мы — советские люди, не им чета.

Если бы вы видели его в эту минуту! Он приподнялся на локте, его брови, особенно черные оттого, что они смотрели из рамки бинтов, нахмурились, глаза сверкали.

Генерал взбесился. Он вскочил, скверно выругался и произнес поговорку, соответствующую примерно нашей: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Он сказал, что лейтенант глупое, тупое животное, что он черной неблагодарностью платит за такое рыцарское обращение, за такой уход.

— Я думал, что этот уход полагается по международному соглашению об уходе за ранеными, — ответил лейтенант.

— Соглашение! Ха-ха! Станем мы тратить немецкие бинты на русских свиней, от которых не имеем ничего, кроме вони!

Генерал кричал, топал ногами. Мой шеф, понимая, что это лишает их последней надежды хоть что-нибудь выудить, почтительно и настойчиво пытался его удерживать. Но где тут!

Когда я перевела фразу генерала, раненый летчик вскочил на носилках, кулаками разбил гипс на ногах и стал срывать с головы, с шеи марлевые повязки. На лицо ему хлынула кровь.

— Не надо мне фашистского милосердия! — бормотал он.

— Грязные фанатики, страна северных папуасов! — кричал генерал.

И вдруг — это было мгновенно — он отшатнулся, зажимая лицо: лейтенант плюнул ему в глаза кровавой слюной.

Они все трое набросились на него и стали бить ногами по чему попало. Раненый, рыча, отбивался, — он был еще крепок, ярость удесятерила его силы. Сидя на носилках, весь залитый кровью, он хлестал их по лицам, и они никак не могли схватить его.

Я стояла тут, рядом. Вы понимаете, я видела, как звери терзают этого светлого, гордого человека, самого лучшего из людей, каких я встречала за свою жизнь. Всем существом моим рвалась я броситься ему на помощь и если не помочь, то хоть умереть вместе с ним! Я не боялась смерти. Нет! Но я была на посту и знала, что теперь, накануне

нашего наступления, моя работа здесь особенно нужна и я не имею права выдать себя. Выдать себя, погибнуть, защищая его, было бы для меня изменой родине, ударом по нашему делу. Что бы ни произошло, ну>кно было, чтобы информация поступила, чтобы вы тут, в армии, знали, что готовят против вас, что замышляют наши противники.

И я совершила в этот день единственный, возможно, действительно героический поступок. Я даже не вскрикнула, сидела, вцепившись в кресло так, что ногти у меня потом посинели, и старалась запомнить все. На моих глазах они забили его до смерти. Этот не знакомый мне чудесный человек погиб, отбиваясь. Вся камера была забрызгана его кровью.

И я в этот час оказалась достойной его, я не выдала себя. И как мне потом ни было трудно, я продолжала свое дело до того дня и часа, пока вы не взяли Харьков...

Она вся тряслась, эта хрупкая девушка с нежной внешностью и нервами закаленного бойца, с волей старого солдата.

— Я даже не знаю его имени,— и теперь не знаю, хотя никогда не забуду его. Он всегда будет передо мной, такой сильный, мужественный, прекрасный!..

И вдруг, закрыв лицо руками, она зарыдала, вся сотрясаясь и трепеща, как молодая березка в яростных порывах осеннего ветра. Высокая прическа рассыпалась, шпильки попадали на землю, волнистые локоны раскатились по грубому сукну шинели, и сразу стала видна широкая седая прядь.

Потом как-то сразу девушка успокоилась. Лицо ее, мокрое от слез, стало твердым, даже жестким, она вытерла глаза, собрала и заколола 'волосы и усмехнулась:

— Нервы... Ничего не поделаешь, придется отдыхать... Мне дают отпуск.

— А потом?

— Опять туда, к ним, ведь война не кончилась.

Она стала суровой, замкнутой, сразу как-то состарилась лет на десять.

— Туда? После таких испытаний?

— Он сказал тогда: «Мы — советские люди». В этой фразе — весь он. Я запомнила это на всю жизнь.

1943 г.



РЕДУТ ТАРАКУЛЯ

Мы долго шли по северной окраине Сталинграда, то и дело отвечая тихо возникавшим на нашем пути часовым заветным словечком пароля. Пробирались изрытыми задворками, помятыми садами, карабкались через кирпичные баррикады, пролезали сквозь закоптелые развалины домов, в которых для безопасности передвижения были пробиты в стенах ходы, подвернув полы шинелей, стремглав пробегали улицы и открытые места.

Наконец лейтенант Шохенко зашел под прикрытие стены, перекинул ремень автомата с плеча на плечо и, переведя дух, сказал:

— Ось и дошлы. Туточка. От-то у нас в дивизии хлопци и клычуть редут Таракуля.

Он показал бесформенную груду битого кирпича и балок, возвышавшуюся на месте, где когда-то, судя по ее очертаниям, стоял небольшой приземистый особняк прочной купеческой стройки.

Происходило это в глухой час беспокойной фронтовой ночи, в ту минуту перед рассветом, когда даже тут, в Сталинграде, наставала тишина и холодный осколок луны серебрил седые облака низко осевшего тумана и выступавшие из него пустые коробки когда-то больших и красивых домов. Все кругом — и подрубленные снарядами телеграфные столбы с бессильно болтающимися кудрями оборванных проводов, и чудом уцелевшая на углу нарзанная будка, вкривь и вкось прошитая пулями, и камни руин — все солонисто сверкало, покрытое крупным седым инеем.

Мостовая была сплошь исковеркана и вспахана разрывами снарядов и мин. Целые россыпи стреляных гильз звенели под ногами то тут, то там. Просторные воронки авиабомб, заиндевевшие по краям, напоминали лунные кратеры. На ветвях израненного тополька чернели клочья чьей-то шинели. Все говорило о том, что место это совсем недавно было ареной долгой и яростной схватки, и центром ее был совершенно разрушенный дом.

— Редут Таракуля,— повторил лейтенант Шохенко, которому, видимо, очень нравилось звучное название, и, нагнувшись, показав на прямоугольные отдушины в массивном, хорошо сохранившемся каменном фундаменте, пояснил: — А то амбразуры. Подывиться, якый вэлыкый сэктор обстрила на обыдви вулыци. От скризь ных и дэржалы воны наступ цилого нимэцького батальона. Вдвох — батальон! Вдво-о-оох!

В голосе лейтенанта, человека бывалого и, по-видимому, отнюдь не склонного к восторженности, слышалось настоящее восхищение, восхищение мастера и знатока. И мне живо вспомнилась во всех подробностях история этого дома-редута, слышанная мной в те дни в Сталинграде от разных людей, — удивительная история, в которой, как солнце в капле воды, отразились величие и трагизм битвы.

Бойцы-пулеметчики Юрко Таракуль и Михаил Начинкин, оба переплывшие со своим пулеметным взводом Волгу уже полтора месяца назад и, стало быть, имевшие право считать себя здешними ветеранами, получили приказ организовать пулеметные точки в этом особнячке, на перекрестках двух окраинных улиц. Особняк несколько выдавался пе-

ред нашими позициями и мог послужить хорошим, прочным авангардным дотом. Центр боя в те дни перекинулся западнее, к Тракторному заводу. Удара здесь не ждали, и сооружение пулеметных точек было лишь одной из мер военной предосторожности.

Получив приказ, Начинкин, спокойный, неторопливый, как и все металлисты по профессии, и маленький, подвижный, постоянно что-нибудь насвистывавший, напевавший, а то и приплясывавший при этом молдаванин Таракуль добрались до дома и обстоятельно его осмотрели. Им, давно оторванным от мирной жизни, позабывшим запах жилья, было радостно-грустно ходить по пустым, хорошо обставленным комнатам, слушая далеко отдававшееся эхо своих шагов, рассматривая уже забывавшиеся предметы мирного быта, по которым в свободную минуту всегда так тоскуется на войне. И хотя дом этот, очутившийся на передовой, был обречен на пожар или разрушение, они аккуратно вытерли о половичок ноги, перед тем как войти в квартиру, и двигались осторожно, точно боясь запачкать полы, покрытые мохнатыми коврами пыли.

Для пулеметных гнезд они облюбовали угловые комнаты: отсюда из окон можно было легко следить за всем, что происходило на скрещивающихся улицах, ведущих к неприятельским позициям. Крайняя комната была когда-то столовой. Они вытащили из нее обеденный стол, диван, стулья, осторожно отодвинули в сторону звенящий посудой тяжелый буфет и принялись разбирать печь, чтобы кирпичом ее заложить окна и сделать в них амбразуры. Дело это было для них не новое, и работа спорилась. Силач Начинкин, работавший до войны токарем на Минском машиностроительном заводе, старался не очень следить на паркетных полах и потому ходил на цыпочках, выламывая и огромными охапками поднося кирпич. Его напарник, насвистывая песенку, ловко укладывал в окне кирпичи «елочкой», чтобы прочнее держались.

Бой гремел поодаль. Хрустальная люстра, отзываясь на каждый выстрел, мелодично звенела подвесками. Звенела от глухих выстрелов посуда в буфете да дверь слегка открывалась и закрывалась, когда где-то над передовой бомбардировщики опорожняли свои кассеты. Но все это нисколько не беспокоило бойцов, как не беспокоит горожанина лязг и скрежет трамвая под его окном, а сельского жителя — мычание коровы или стрекотание кузнечиков в траве его усадьбы.

Они делали свое дело, лишь изредка, по военной привычке, высовываясь из окон и осматриваясь. Мало разрушенные улицы были совершенно пустынны и точно вымерли.

Первая амбразура была уже готова. Установив в ней пулемет и подтащив ящики с патронами, солдаты принялись за вторую, в соседней комнате. Но, притащив очередную охапку кирпича, Начинкин вдруг увидел, что Таракуль не работает, а прильнул к пулеметному прицелу и, весь напрягшись, смотрит через него на улицу. «Немцы!» — догадался Начинкин. Он осторожно положил кирпичи на пол и выглянул из-за незаконченной кладки во втором окне.

Пятеро солдат с автоматами, озираясь и прижимаясь к стене, крались вдоль улицы по направлению к особняку. Начинкин схватил было стоявшую в углу винтовку, но Таракуль вырвал ее у него из рук.

— Не спугивай: разведка. За ними еще будут. Подпустим, а потом сразу...— шепотом сказал он и приник к пулемету.

Начинкин, стараясь ступать как можно неслышней и даже сдерживая участившееся дыхание, быстро установил свой пулемет в незаконченной амбразуре соседней комнаты и стопкой положил заряженные диски.

Наверное, в любой другой точке гигантского фронта, очутившись в такой обстановке, двое солдат, оторванные от своей части, немедленно отошли бы на свои позиции, тем более что никто не приказывал им защищать этот дом. Но дело было в Сталинграде, в разгар великой битвы, и этим двоим как-то даже в голову не пришло отступить перед опасностью. Они легли у пулеметов, подщелкнули диски и стали наблюдать.

Не дойдя до угла, немцы посовещались, осмотрели перекресток. Один из них тихонько свистнул и махнул рукой. На улице показались автоматчики — человек тридцать. Так же крадучись, они подошли к перекрестку и стали, пластаясь, вдоль стены. Со стороны дома они представляли удобную мишень. Пулеметчики слышали, как шуршит битая штукатурка под ногами врагов, как раздаются чужие, звучащие почему-то зловеще слова непонятной речи. Вот немцы снова выслали вперед разведчиков.

Две резкие очереди распороли воздух. Потом еще две. Несколько немцев упало, остальные побежали, не понимая, откуда стреляют. Отбежав, они остановились и тут точно растаяли в развалинах.

— Есть! — победно крикнул Таракуль, сверкая желтыми белками горячих цыганских глаз.

В припадке радости он даже вскочил и отбил по паркету лихую чечетку. Начинкин только покачал головой и молча показал ему на остов большого каменного дома напротив, отлично видневшийся сквозь ам-

бразуру. Нетрудно было различить в темных провалах окон осторожно суетившиеся фигуры. Вскоре, одновременно с двух улиц, к перекрестку мелкими перебежками, прижимаясь к подворотням, к воронкам, скрываясь за телеграфными столбами, хлынули чужие солдаты. Они подходили к дому сразу с двух сторон.

Таракуль оторопел. Их было много, и, что особенно ему показалось тогда жутким, они были не только перед ним, как он привык их видеть тут, в боях в городе. Они были с боков, заходили сзади. Первое, что захотелось сделать бойцу,— это бежать, бежать скорее, бежать к своим; пока еще не поздно, вырваться из этого суживающегося полукольца, спастись и спасти свое оружие. Но он увидел, что его напарник деловито переносит пулемет в соседнюю комнату, и понял, что тот хочет прикрыть фланг. Спокойный поступок товарища сразу привел его в себя.

Преодолевая охвативший его инстинктивный страх, Таракуль припал к пулеметному прицелу и стал короткими очередями выбивать перебегавших по улице немцев. Те, что засели напротив, открыли стрельбу. Но за кирпичной кладкой Таракуль чувствовал себя неуязвимым. И оттого, что автоматные пули, поднимая известковые облачка и рикошетя со злым визгом, не приносили ему вреда, страх его прошел и, как это бывает в острые моменты на фронте, сменился чувством уверенности, даже спокойной радости, когда немцы — много немцев там, на улице,— побежали назад, перепрыгивая через убитых, не обращая внимания на раненых; побежали, подгоняемые паникой, преследуемые огнем его пулемета. Теперь Таракуль уже хладнокровно бил им вслед. И всякий раз, когда серая фигурка, словно споткнувшись, падала на землю, он выкрикивал:

— Есть!

А в соседней комнате работал — именно работал — пулемет Начинкина. Бывший токарь, верный своему непоколебимому хладнокровию, умел даже в острое боевое дело вносить элемент расчета. Он стрелял очень экономно, очередями патронов по пять, и то только тогда, когда в прицеле мельтешило несколько фигурок. Он первым отбил атаку на своей улице. С винтовкой пришел он на помощь товарищу и, устроившись у его амбразуры, так же тщательно прицеливаясь, начал бить по тем, кто сидел в доме напротив. Оттуда отвечали залпами из автоматов. Они били по верху незаложенного окна. Комната наполнилась визгом пуль и известковой пылью. Пулеметчики прилегли на пол. Потом стрельба стихла.

— Ну, действуй тут, — сказал Начинкин и пополз к своему пулемету.

Когда атака была отбита и настала тишина, Таракуль в свою очередь навестил приятеля. Теперь он осознал свою силу и от избытка этой силы, желая чем-то выразить радость, распиравшую его грудь, звонко хлопнул Начинкина по спине. Тот сердито отбросил его руку. Он свертывал цигарку, и Таракуль заметил, что человек этот, который еще недавно подбодрил его своей деловитостью, хладнокровием, сейчас бледен, и пальцы у него дрожат, табак сыплется на колени.

— Видал! Видал, как они!.. Как мы их!

— Чего ты радуешься? Думаешь, они бежали — и все?.. Еще придут... — И вдруг спросил: — А ты женатый? Дети есть?

— Холостой,— отвечал Таракуль, не расслышав даже как следует вопроса. — Как они драпанули!

— А я женатый... четверо у меня ребятишек-то... Ну, чего здесь сидишь? Давай, давай к пулемету!

И они снова расползлись по комнатам, каждый к своей амбразуре.

Слова Начинкина сбылись. Действительно, бой только начинался. Через час неприятель предпринял еще одну вылазку, потом две короткие, напористые — одну за другой. Пулеметчики вылазки отбили. Они действовали все сноровистее, и мысль продержаться вдвоем до того, пока на завязавшуюся перестройку подоспеют подкрепления, не покидала их. Позиция у них была удобная, с положением своим они освоились, если вообще человек может освоиться с таким положением. Все бЪльше и больше серых фигур, похожих на брошенные кем-то узлы старой одежды, оставались лежать в нейтральной полосе, на пустынной мостовой, поросшей травкой, прибитой утренниками.

Тогда немцы подтянули минометы. Из сада напротив они стали бить по дому, и били минут двадцать. С десяток мелких мин разорвалось в верхнем этаже. Все в доме было разрушено, переворочено, расщеплено, перемешано с обломками штукатурки. Но когда немцы снова бросились в атаку, опять четко заработали два пулемета, и две смертоносные завесы преградили им путь. Пулеметчики переждали обстрел в узенькой ванной комнате и, как только разрывы смолкли, через развалины подползли к своим амбразурам.

Трудно сказать, что думал о них неприятель. Померещилось ли ему, что они имеют дело с целым гарнизоном, или что наткнулись на замаскированный дот, или просто упорство этих людей сломило его наступательный дух, — трудно сказать. Но он отказался от попыток про-

рваться к дому атакой. Подвезли три орудия и стали обстреливать дом прямой наводкой.

После каждого выстрела Таракуль кричал приятелю в соседнюю комнату.

— Я жив, а ты?

И тот спокойно и брюзгливо, словно отмахиваясь от комара, отвечал:

— А мне что сделается!

Но после одного, особенно гулкого разрыва, встряхнувшего весь дом и наполнившего его душным облаком известковой пыли, Начинкин не ответил товарищу. Таракуль бросился к нему. Среди обломков мебели, штукатурки, кирпича, разбросав раненые ноги, лежал грузный пулеметчик. Он пытался подняться, но не мог и все падал назад, широко раскрыв рот, точно давясь воздухом.

— Ранен, — сквозь зубы процедил он.

«Что же делать?» — пронеслось в мозгу Таракуля. Выходит, он остался один. Бежать? А тот, раненый? А пулеметы? Да и как убежишь с этаким верзилой на плечах?! Мозг работал быстро, точно, как всегда в такие минуты. В следующее мгновение Таракуль уже волочил друга вниз, в подвал, куда они еще вначале снесли ящики с патронами, как выразился хозяйственный Начинкин, — на «всякий случай». Сюда же перетащил Таракуль пулеметы, диски. Он установил их в том же порядке, как и наверху, высунув стволы в прямоугольники отдушин.

Сектор обстрела у них теперь стал меньше, но зато массивные своды старинного купеческого подвала надежно прикрывали их. Когда все было сделано, Таракуль почувствовал страшную усталость. Он лег на пол и некоторое время лежал неподвижно, прижимаясь разгоряченным лбом к холодному камню.

В это время раздались глухие взрывы, от которых все здание подпрыгнуло, и страшный треск над головой. Это рванула серия авиабомб. Немцами были вызваны на помощь пикировщики, и взрывная волна обрушила дом. Груды кирпича, щебня завалили подполье, но массивные своды подвала выдержали.

Таракуль и его раненый товарищ остались живы, оглушенные, контуженные, погребенные под обломками, отрезанные от мира. Придя в себя, Таракуль осмотрелся й обошел “подвал.

— Могила, — сказал он глухо, обращаясь к товарищу, с закрытыми глазами лежавшему у стенки.

Начинкин открыл глаза.

— Дот, — просто ответил он, посмотрел на одну амбразуру, на другую и добавил: — Да еще какой дот-то, только вот гарнизон маловат.

При всей безвыходности положения, в котором они очутились, у них теперь было одно преимущество: они могли не опасаться нападения с тыла. Груда развалин надежно закрывала их от снарядов. Разве только прямое попадание авиабомбы грозило им. А кто из бывалых солдат боится прямого попадания!

Юрка Таракуля обуяла жажда деятельности. Он получше установил пулеметы в амбразурах, поставил под них ящики, чтобы можно было сидеть. Ящик с патронами волоком подтащил к раненому товарищу, который вызвался заряжать диски.

Сам же Таракуль, бегая от одной амбразуры к другой, следил за тем, что делается на улице.

Должно быть, сильно поразили они немцев своим упорством. Еще долго после того, как дом был разбит авиацией, не решались они к нему приблизиться. Когда же наконец снова поднялись в атаку, их встретил огонь все тех же пулеметов, упрямо бивших теперь откуда-то из-под развалин...

Стреляли Таракуль и его раненый товарищ. Но раненый, хотя и слыл в роте человеком железным, быстро слабел и, лишаясь сознания, бессильно падал у амбразуры. Тогда Таракуль бегал от одного пулемета к другому и простреливал обе улицы. В сыром подвале ему стало жарко. Он сбросил шинель, потом гимнастерку, потом рубашку и, по пояс голый, с черным от пороховой гари и пыли, изможденным лицом, на котором по-негритянски сверкали глаза и зубы, с мокрыми кудрями, свалявшимися в комья, отстреливался бешено и самозабвенно, пока Начинкин приходил в себя и, карабкаясь по стене, поднимался к пулемету.

Два дня мерились так силами два советских бойца, похороненные под развалинами, и целая немецкая часть, снова и снова пытавшаяся наступать на бесформенную груду кирпича и штукатурки, превращенную солдатской волей в крепостной бастион. Овладение этими развалинами стало для немцев делом престижа.

Все труднее и труднее было гарнизону дома. Уже больше суток прошло с тех пор, как был по-братски разделен последний сухарь, отыскавшийся в вещевом мешке запасливого Начинкина. Не было воды. По ночам они слизывали языком иней, оседавший на камнях подвала.

Давно была докурена последняя щепотка табаку, вытряхнутая из уголков карманов. И, что всего хуже, на исходе были патроны.

— Вызовут танки, вот тогда плохо будет, — сказал Начинкин, когда они, вскрыв цинку с патронами, снова набивали опустевшие диски.

Начинкин был совсем слаб, и тугая пружина дискового механизма все время выскальзывала из его рук.

— Что ж, пропадать — так с музыкой! — ответил Таракуль, сверкая желтыми белками.

Он тоже слабел от голода и недосыпания, но еще держался и только иногда, чтобы экономить энергию в слабевшем теле, на целые часы замирал, точно каменел, у амбразур так, что в эти минуты казалось: живут у него только глаза и уши.

— У тебя в голове все музыка. Не с музыкой, а с толком. Что без толку-то шуметь, кому она нужна, такая музыка! Жизнь-то человеку, чай, одна отпущена!

Начинкин не переставал трудиться над зарядкой дисков. Иногда, в горячую минуту, он даже ухитрялся с помощью друга подниматься к пулемету, садиться на ящик и стрелять. Но мысль о смерти все чаще и чаще приходила ему на ум. И ему хотелось сказать товарищу, этому молодому молдавскому виноградарю, с которым судьба свела его, что-то такое большое, значительное, мудрое, что созревает в такие часы в его душе и что никак, ну никак не хотело укладываться в слова.

— Человек не должен умереть, пока он не сделал все, понимаешь? Все, что мог... Все, — сказал он наконец, мучаясь нехваткой слов и опасаясь, что друг не поймет его.

Он заставил Юрка затвердить адрес его семьи и фамилию доброго знакомого, директора того завода, на котором он работал перед войной. Он взял с бойца слово, что, ежели тот выживет и вернется с войны, обязательно разыщет его семью и расскажет жене об этих вот часах, что найдет он и директора и поведает ему о том, как погиб в Сталинграде минский токарь.

С этим директором у Начинкина были какие-то сложные отношения. Они были когда-то чуть ли не друзьями, но в первые дни войны, когда завод эвакуировался на восток, токарь отказался ехать с заводом. Он заявил, что останется и будет защищать город. Вот тут-то директор и сказал ему что-то такое обидное, чего Начинкин никак не мог простить. Повесть очевидца о том, как сражался солдат Начинкин, должна была посрамить директора и опровергнуть его обидные слова.

Но — как истые бойцы — о смерти они между собой не говорили, даже слова этого избегали, и все больше гадали о том, когда и откуда ждать им выручки.

А в выручку они верили, несмотря ни на что.

И действительно, теперь, когда из-за нехватки патронов слабели во время атак голоса их пулеметов, сзади дружно бухали минометы, и черный густой забор частых разрывов вырастал перед домом, преграждая врагу путь к нему.

Голодные, изнывающие от жажды, совершенно измотанные бессонницей, они слушали этот близкий и грубый гром как голос друзей, обещавший поддержку. Он, этот грохот, точно связывал их со своими, от которых бойцов отделяла гора навалившегося щебня и десятки метров смертоносного пространства ничейной земли.

На третью ночь, под самое утро, случилось диковинное. Таракулю, дремавшему с открытыми глазами у амбразуры, послышался вдруг странный человеческий голос. Подумав, что бредит, он приложил лоб к холодному, заиндевевшему камню, слизнул иней, отдававший плесенью.

Нет, это не обман слуха: голос действительно звучал. Юрко взглянул на товарища. Начинкин спал, держа в одной руке диск, в другой — горстку патронов.

Нет, говорил не он. Картонный, какой-то нечеловеческий голос упрямо долдонил знакомые русские и вместе с тем малопонятные чужие слова: что-то о хлебе, мясе, масле. Таракулю стало страшно. Он растолкал спящего товарища. Начинкин прислушался. Тень улыбки коснулась его почерневших, запавших губ.

— Фрицы! Это они нам кричат, нас с тобой агитируют.

— Стафайтесь... Фам путет карошо опращенье... Фам путет отшень карошо кушайт! — выкрикивал картонный голос из предрассветной тьмы.

— Куском хлеба купить хотят! И где? В этом городе... Дубье! — тихо сказал Начинкин. — Гляди, что фашизм с человеком сделал. Выше своего брюха уже и подняться не может. А ведь людьми были, дизель изобрели.

Когда отхлынул страх непонятного, Таракуль почувствовал прилив неудержимого бешенства. Он прилег к пулемету и пустил на голос длиннейшую очередь. Он стрелял, пока не выскочил на каменный пол и не прозвенел в наступившей тишине последний патрон.

Вспоминая потом о днях этого невиданного поединка, Юрко Тара-куль никак не мог точно сказать, сколько времени они обороняли дом. О последнем дне он вообще ничего не мог вспомнить, кроме того, что стрелял из обоих пулеметов, не видя перед собой ничего, кроме пере-крещивающихся улиц, не думая ни о чем, кроме того, что нужно во что бы то ни стало удержаться. Только эта мысль отчетливо отпечаталась в его затуманенном от голода и усталости сознании.

Они держались до тех пор, пока где-то вдали не услышали сквозь частую стрельбу «ура», которое приближалось и нарастало, пока по обломкам тротуара не застучали тяжелые шаги наступавшей пехоты и в амбразурах отдушин не замелькали родные, песочного цвета шинели и неуклюжие милые кирзовые сапоги.

Тогда он бросил пулемет, стал трясти совсем ослабевшего друга; кричал ему только одно слово:

— Наши, наши, наши!

Свежий, подтянутый из резерва полк, ночью переправившийся через Волгу, отжал тут немцев, очистил перекресток. Бойцы из взвода лейте-нанта Шохенко подбежали к развалинам. Из амбразур до них донеслись слабые голоса товарищей. Но пришлось вызвать саперов, долго раз-гребать и даже подрывать камни, чтобы извлечь Начинкина и Таракуля. Кто-то, кажется саперный начальник, руководивший этими раскопками, шутя назвал развалины особняка редутом Таракуля. С легкой руки название это так и прижилось, попало в печать, было перенесено на военные планы...

...И вот наконец собственными глазами удалось мне осмотреть это необыкновенное место. Мы засветили фонарики и сквозь пробитую са-перами брешь спустились в подвал. Синеватый свет луны сверкающими косыми брусками просачивался в амбразуры и белыми пятнами расплы-вался по полу среди густой россыпи стреляных, уже позеленевших гильз. В углу валялись окровавленные бинты. Тут, должно быть, лежал Михаил Начинкин.

Сквозь амбразуры отчетливо виднелись на аспидно-черном фоне неба посеребренные инеем обломки стен, напоминавшие театральные декорации. Над ними остро и холодно сверкали звезды, тяжело и низко покачивалось над землей зарево пожара.

Когда глаз привык к полутьме подвала, можно было различить надпись, сделанную на серой, покрытой крупитчатым инеем стене. Лей-тенант осветил ее фонариком. «Здесь стояли насмерть гвардейцы

Таракуль Юрко и Начинкин Михаил. Выстояв, они победили смерть», — прочел я.

— Цэ наш комиссар напысав, — сказал лейтенант; он прочел вслух: — «Выстояв, они победили смерть».

— Страшно, наверное, было в такую вот ночь перед лицом врага совершенно одним?

— Страшно? Нэ тэ слово. Такэ слово тут мы забулы... От одыноко — да, — сказал Шохенко, — одыноко — то погано, дужэ погано на вийни. А що до страху, такого слова в цим мисти нэмае.

И мне захотелось для тех, кто много поколений спустя будет изучать эпопею обороны города, где было позабыто слово «страх», как можно подробнее записать историю этого обычного сталинградского дома, записать такой, какой я слышал ее от Таракуля и его боевых друзей.

1943 г.



ЗНАМЯ ПОЛКА

Вот оно, это старое, тяжелого шелка, шитое золотом знамя — боевая святыня танкового полка,— знамя, за которое в самых необыкновенных условиях два года непрерывно шла скрытая жестокая борьба. В этой борьбе участвовало много людей, много пролилось крови, и не один человек отдал свою жизнь.

Но основными героями этой борьбы так до конца и остались пожилая колхозница с усталым, изборожденным скорбными морщинами, суровым и умным лицом — Ульяна Михайловна Белогруд и ее дочь Марийка, семнадцатилетняя украинская красавица, всем своим обли-

ком напоминающая обаятельные портреты кисти юного Тараса Шевченко.

Борьба за знамя началась в сентябре 1941 года в степях Полтавщины, изрезанных крутыми петлями неторопливой и полноводной реки Псел.

Немецкие бронетанковые дивизии генерала Клейста, форсировав Днепр, рвались тогда к Харькову, а остатки советского танкового полка, давно уже отрезанного от своих частей, продолжали борьбу в долине Псела, устраивая засады на дорогах, нападая на колонны неприятельских автомашин, на маршрутные комендатуры у трактов, на маленькие сельские тыловые гарнизоны.

У танкистов давно кончился бензин. Они заправляли свои машины из подбитых танков, стоявших на местах недавних боев, и продолжали воевать. Серьезно обеспокоенные немецкие штабы поворачивали против необыкновенных партизан маршевые части, двигавшиеся к фронту. В этих неравных боях полк таял. Наконец, 25 сентября в бою у Оржеца сгорели последние две машины. От танкового полка осталось восемь человек личного состава: старший лейтенант Василий Шамриха, политрук Степан Шаповаленко, лейтенант Леонид Якута, старшина Григорий Лысенко и солдаты Никита Яковлев, Лев Насонов, Николай Ожерелов и Александр Савельев. Это были танкисты без танков, лишенные привычного оружия. Они находились в глубоком неприятельском тылу, но никто из них и не думал опускать руки.

Ночью в болоте возле Оржеца, в шелестящих зарослях сухого камыша, лейтенант Шамриха сделал привал своему отряду. Он вынул из-за пазухи полотнище полкового знамени, завернутое в рубашку, развернул его при свете луны, прижал к сердцу скользкий шелк и сказал товарищам торжественно и решительно:

— Пока мы, восемь солдат, держим в руках оружие, пока с нами это знамя, полк наш не побежден. Он существует. Действует. Поклянемся, товарищи, перед этим знаменем, что ни трусостью, ни малодушием не опозорим его, что оружия не сложим и, пока живы, пока хоть в одном из нас бьется сердце, будем хранить знамя и бить гитлеровцев.

Лейтенант первым стал на колени, сказал: «Клянусь!» — и поцеловал уголок полотнища. За ним проделали то же каждый из его товарищей. Потом Шамриха зашил полотнище в подкладку своей ватной куртки и сказал: «Пошли».

Так спешенные танкисты начали партизанскую войну. Может быть, кто-нибудь из оставшихся в живых участников этой партизанской груп-

пы теперь на досуге уже подсчитал, сколько было сожжено ими в эту осень немецких автомашин, сколько перехвачено транспортов, сколько побито врагов в степных засадах, сколько роздано населению или сожжено пшеницы из той, что подготовляли немецкие интенданты к вывозке «нах фатерлянд». Тогда им было не до подсчетов, они действовали. Они воевали — и воевали умело: осторожные, быстрые, били всегда точно, возникая внезапно в степи и так же внезапно бесследно исчезая. И лучшей оценкой их деятельности была распространенная немецкой фельдкомендатурой инструкция «О борьбе с появившейся в Великокрынском, Кобелякском и Решетиловском районах десантной частью в танкистских шлемах».

В этой инструкции немцам и их наймитам предписывалась крайняя осторожность при передвижении по степи, запрещалось выезжать затемно и ездить колоннами меньше чем по пятнадцати машин, без конвоя, усиливалась ночная охрана комендатур, гарнизоны в селах сводились из сельских хат в общие помещения. Одновременно повсюду появились объявления: селянам сулились богатые награды и всяческие блага, если они помогут напасть на след советской «шайки в танкистских шлемах» или живым, либо мертвым доставят в комендатуру хотя бы одного партизана-танкиста. Издалека, откуда-то из-под Тарнополя, были вызваны на Псел части СС. По селам начались массовые облавы, слежки, аресты. Эскадроны конной полевой полиции шныряли по степи, обшаривали балки, лощины, зажигали сухие камышовые заросли.

Но хотя степи в этих местах голые, гладкие, как колено, а зимой, когда все кругом ослепительно бело, можно заметить в них человека за несколько километров, «десантная часть в танкистских шлемах» была неуловима. Появились даже сообщения о том, что ее для операции привозят на самолетах из советского тыла, с неведомых баз, а потом тем же путем увозят обратно.

Теперь, когда отшумела война в украинских степях, можно, конечно, выдать секрет партизанской неуловимости. Танкисты Шамрихи завели себе крепких друзей среди местного населения, и, когда эсэсовский отряд и полевая полиция окружали село, партизаны и не думали бежать или прятаться, а оставались там же, где были, и занимались кто слесарным делом, кто чеботарством, кто какой-нибудь другой мирной работенкой. Они пережидали, пока облава кончалась и округа приходила в себя. Потом доставали из укромных мест шлемы и оружие, прощались со своими друзьями, в которых у них не было недостатка, уходили

подальше — и опять, по степи, по занесенным снегом деревням, из уст в уста передавались вести о появлении советских частей, о внезапных налетах, пожарах, взрывах, казнях предателей. Действовали в этих краях, разумеется, и другие партизанские отряды. Но напуганные оккупационные власти и их боевую работу приписывали таинственным танкистам.

Знамя танкисты хранили как зеницу ока. Оно как бы сплачивало эту горстку отважных воинов, связывало их с родной армией, сражавшейся за сотни километров от них. Но они допустили оплошность. Они рассказали кое-кому из селян об этом знамени. Неведомым путем эта весть доползла до оккупантов. В комендатурах смекнули, что «неуловимая десантная часть в танкистских шлемах» имеет какую-то связь с этим знаменем. За захваченное военное знамя в немецком вермахте полагались Железный крест первой степени, повышение в следующий чин и месячный отпуск на родину. Все это подтолкнуло оккупантов начать бешеные поиски.

После многих облав, арестов, допросов коменданту в местечке Решетиловка удалось напасть на след. Ночью эсэсовцы выследили Василия Шамриху, возвращавшегося из степи с операции. Вместе с ним были арестованы Шаповаленко, Якута, Лысенко. Их привезли в местечко, раздели донага, всю одежду вспороли, изрезали, искромсали на клочки. Знамени не нашлось. Тогда их стали пытать. Для этого нацисты выдумали такой способ: воинов голыми привязали к столбам и начали обливать холодной водой.

Был январь, по степи дул острый северный ветер, от мороза трещал лед в колодезном срубе.

— Где знамя?

Ледяные панцири постепенно покрывали посиневшие, немеющие тела. Эсэсовцы лили и лили воду. Заживо танкисты превращались в ледяные статуи.

— Скажите, где знамя, отогреем, вылечим, в водке купаться будете! — требовал через переводчика комендант.

— Чтоб вы все сдохли, проклятые, чтоб ваш Берлин сгорел к чертовой матери, чтоб вашего Гитлера разорвало! — хрипел Шамриха почерневшим ртом.

Он жил дольше всех и, как рассказывали женщины, уже из ледяного панциря продолжал сулить Гитлеру и всем нацистам еще более страшную смерть.

Так и замерзли четыре танкиста, ничего не сказав. А знамя в это время находилось в подкладке тужурки бойца Ожерелова. Вместе с Насоновым, Яковлевым и Савельевым он сидел в избе своего верного друга — крестьянина села Поливка, коммуниста Павла Трофимовича Белогруда, и обсуждали они, как в новой, усложнившейся обстановке, когда их непрерывно ищут и каждому из них грозит арест, сберечь полковую святыню. Решено было, что танкисты уйдут партизанить в дальние районы Полтавщины, а знамя оставят на хранение Павлу Трофимовичу. Вечером Павел Трофимович собрал семью. Захлопнули на болты ставни, закрыли двери на крючок, на засов, на щеколду. Колхозник развернул знамя и показал его семейным:

— Вси бачилы? Ну, ось! Розумиете, що це таке?

Потом велел он жене и дочери Марийке аккуратно сложить знамя и зашить в сатиновую наволочку. Сам он обстрогал фанерку, положил на нее сверток со знаменем и приколотил фанерку снизу к тыльной части сиденья широкой дубовой скамьи в красном углу хаты.

— Як що зи мною щось трапится, кажен з вас, хто залышиться живым, хоронить цей прапор свято и непорушно, доки наше вийско не вернеться у Поливку. А як прийдуть — передайте цей прапор самому бильшому з военных...

И сказал он еще, что если кого-нибудь из них будут пытать, пусть даст он вырвать язык, очи выколоть, душу вынуть, но ничего про знамя не говорить.

Старому Белогруду первому в семье пришлось выполнить этот свой завет. В тяжелых муках умерли, так ни слова и не сказав о знамени, лейтенант Василий Шамриха и его товарищи. Но немцы дознались стороной, что погибшие партизаны иногда гостевали в Поливке у Белогрудое и у других крестьян. Летучий отряд полевой жандармерии схватил Павла Трофимовича, брата его Андрия Трофимовича и еще одиннадцать поливских граждан и отвез их в Великокрынскую тюрьму. Когда старому Белогруду вязали на спине руки, он успел шепнуть Ульяне Михайловне:

— Що б зи мною ни тралилось, про тэ ни гугу... Бережите тэ, як зеницю ока!

Арестованных крестьян в тюрьме, помещавшейся в здании Великокрынского педагогического техникума, ждала не менее страшная участь, чем их предшественников. Желая дознаться, где спрятано неуловимое знамя, эсэсовцы превосходили самих себя. Они жгли тела крестьян паяльными лампами, пробивали гвоздями кисти рук и ступни, напоследок

обрезали уши и носы. Ослепленный, окровавленный, еле живой Белогруд, сверкая невидящими уже глазами из-под кустистых бровей, на вопрос, где знамя, хрипел:

— Ничого не знаю... Не знаю, чтоб вы повыздыхалы!...

С тем и умерли украинские крестьяне Павел Белогруд и его брат Андрий и их односельчане, не выдав партизанской тайны, И тайна эта всей своей тяжестью легла на плечи жены Белогруда.

Немцы почему-то догадывались, что знамя спрятано у нее. Ожегшись на прямых ходах, они изобретали все новые и новые способы выведать секрет. Ульяне Михайловне предлагали награду, сулили богатые подарки. Зная, что вдова живет трудно, впроголодь, после того как эсэсовцы очистили при аресте мужа ее кладовки и клуни, ей обещали муки, круп, керосину, мяса, если она скажет, где хранится оставленный партизанами сверток. Подобно мужу, она упрямо отвечала, что ни о каком свертке ничего не знает.

Днем, при детях, она держалась замкнуто, деловитая, гордая, а по ночам, когда в хате стихало, она осторожно сползала с печи, кралась в красный угол и щупала руками, тут ли оно, это знамя, принесшее ее семье столько тревог и горя.

На округу тем временем обрушилась новая беда. Стали угонять молодежь в Германию. По разверстке каждая детная семья должна была «для начала поставить», как писалось в уведомительном приказе, по «одной здоровой единице — девице или парню по усмотрению». Воспользовавшись этим набором, комендант попытался нажать на самое чувствительное в душе каждой женщины — сыграть на материнском чувстве. Солдаты схватили троих детей Ульяны Михайловны — дочь Любу, сыновей Петра и Ивана — для отправки в Германию. Испуганной матери, прибежавшей пешком в решетиловскую комендатуру, прямо так и сказали:

— Выдай то, что оставили партизаны, всех детей вернем и бумажку такую дадим, что никто из них никакой мобилизации не подлежит.

Ничего не ответив, вернулась она домой. Всю ночь, весь день, и еще день, и еще ночь проплакали, сидя обнявшись, Ульяна Михайловна и Марийка, которая сумела спастись от облавы, зарывшись в стогу яровой соломы. Тяжко было матери отпускать в неметчину Любу, еще тяжелей — прощаться с двумя сынами, так напоминавшими ей покойного Павла Трофимовича. Моментами она колебалась, вставала, шатающейся походкой подходила к красному углу, падала на скамью

и шарила под ней рукой: тут ли оно? Убеждалась, что тут, и опять садилась к дочери, обнимая ее, плакала: как быть?

Утром мобилизованные, ночевавшие под охраной в здании сельской больницы, были выгнаны на улицу. Уже скрипели подводы, слышались женский плач и крики солдат. Колонны должны были вот-вот тронуться. К Белогрудам вошел человек от коменданта и опять спросил, отдаст ли Ульяна партизанский сверток. Женщина встала бледная. Придерживаясь рукой о стену, она подняла на посланного исплаканные ненавидящие глаза:

— Нема у мене ниякого узлыка. Нияких партизан я не бачила!..

И, обливаясь слезами, упала на лавку, не в силах выйти и проводить детей, направлявшихся в страшный путь.

Так хранили мать и дочь год семь месяцев это полковое знамя, поддерживаемые уверенностью, что пройдут лихие времена, что сбудутся слова покойного Белогруда и настанет день, когда по зеленой улице родной Поливки пойдут свои войска и передаст она им это знамя, омытое чистой кровью борцов и мучеников, гордо пронесенное ею сквозь столько несчастий, испытаний и бед.

И день этот стал приближаться. Мимо Поливки по большаку к Днепру потянулись бесконечные немецкие обозы. Ot|pi совсем не походили на те стройные вереницы страшных гудящих машин, которые двигались на северо-восток два года назад, заполняя лязгом и грохотом степные просторы, поднимая облака пыли до самого неба. Где остались все эти грозные машины? Куда делись огромные пушки, мощные танки, бесконечные утюгоподобные броневики? Где нацисты потеряли всю эту сталь, в которой чувствовали они себя неуязвимыми, сталь, отлитую для них на заводах всей Европы?

Лишенные своих машин, они походили на улиток, выковырнутых из раковин, и никому уже не внушали страха. Усталые, небритые, в разбитых сапогах или босиком, в обтрепанных мундирах, они брели, погоняя дрючками усталых волов и кляч. Гремели пыльные помятые машины, груженные зерном, мебелью, перинами и всяческим барахлом. И хотя стоявшие в деревне солдаты пытались хорохориться и что-то такое твердили о перегруппировке, Ульяна Михайловна поняла: отступают. Она как-то сразу распрямилась, помолодела, посвежела от одной этой вести. По утрам, поднявшись до света, она с высокого косогора над Пселом с надеждой смотрела на восток, где над ветлами, глядевшимися в стальное зеркало невозмутимой реки, поднималось солнце.

Обгоняя откатывающегося неприятеля, по степям Полтавщины шли слухи, что, отступая, нацисты напоследок лютуют, все жгут, режут и угоняют скот, бьют лошадей. По ночам зарева пожаров вставали на горизонте и, не затухая, полыхали до утра, обнимая полнеба.

И думала Ульяна Михайловна: а знамя? Оно может сгореть вместе с хатой... Столько терпела, столько мучилась, столько перенесла и вдруг теперь, в последний момент не уберечь!..

Посоветовавшись с дочкой, она решила держать знамя при себе. Вынули сверток из заветного угла, куда спрятал его еще покойный Павел Трофимович. Вспороли наволочку, завернули шелковое полотнище в чистую холстину, и холстиной этой Ульяна Михайловна обмотала себя под платьем. Так и ходила она, день и ночь не расставаясь со знаменем ни на минуту, неусыпная, настороженная, с бьющимся сердцем прислушиваясь к глухой канонаде, доносившейся росистыми утрами оттуда, из-за Псела.

А фронт приближался. Квартировавшие в Поливке немцы ночью вдруг сорвались по тревоге и принялись жечь дома, скирды с хлебом, сараи. Они начали с дальнего конца, от церкви, и Ульяна Михайловна с Марийкой, стоя на огороде, задыхаясь в чаду и прогорклом дыму пожарищ, гадали: успеют их подпалить или нет? К хате подкатил мотоцикл. С багажника соскочил переводчик, а из железной галоши вылез офицер, в котором Ульяна узнала решетиловского коменданта. Он был грязен, пылен, лицо его обросло красной шерстью. Но, даже отступая, не бросил он, должно быть, мечты о Железном кресте, о следующем чине, а главное — о месячном отпуске на родину с этого страшного фронта, где все трещало, рушилось и бежало под напором советских войск.

— Господин обер-лейтенант говорит тебе в последний раз: отдай нам сверток, спрятанный партизанами. Видишь, все горит. Хату оставим, корову оставим, хлеб оставим. Отдай!

— Не розумию, про що вы пытаете,— устало сказала женщина, с тоской глядя, как подбежавшие солдаты обливают керосином ее просторную, крепкую, построенную еще покойным мужем, на века построенную хату. И вот уже поднимаются языки пламени к камышовой крыше, вот, гудя, лижет оно резные, расписанные цветами, голубые наличники и ставни, которые за год перед войной, когда пришло в село колхозное богатство, с такой любовью вырезал и выпиливал ее муж с помощью сыновей.

И упала женщина на сухую теплую землю огорода, и залилась она горькими слезами у пылающего пепелища на холме над Пселом, посреди объятой пламенем, окутанной едким дымом деревни. Ни о чем не помня, голосила она до самого вечера, и ни соседки, ни старуха свекровь не могли ее утешить. Она плакала, пока не услышала над собой голос дочери:

— Мамо! Мамо! Наши!.. Та наши ж, мамо, чрез Псел перейшлы! — твердила, толкая ее, Марийка, похудевшая, радостная, сияющая.

Только тут пришла Ульяна Белогруд в себя, поднялась с земли — и вдруг ощутила обвернутое вокруг тела знамя. Клубок радости, от которого захватило дыхание, поднялся ей к горлу. Она встала, развернула материю, распорола холст и вынула алое полотнище, расшитое золотом и шелком. Мать и дочь растянули его и пошли с ним от догоравшей хаты через деревню к реке. А на другом берегу спускались по откосу к броду первые отряды солдат в знакомой, родной форме, в запыленных и выгоревших гимнастерках, с налетом соли, выступившим на лопатках, с автоматами в руках...

Ну, что еще можно к этому добавить? Бойцы Насонов, Ожерелов, Яковлев и Савельев успешно партизанили на Полтавщине, сколотили свой отряд и с ним вместе пробились через фронт к нашим наступающим частям. Они нашли большого командира, вместе с ним приехали в Поливку, взяли знамя у Белогрудое, и с соответствующими воинскими почестями оно было возвращено в танковое соединение, в составе которого был возрожден танковый полк.

И вот теперь, перед тем как новобранцы-танкисты приносят в этом полку присягу, офицеры рассказывают им историю их боевого знамени, сохраненного беззаветным героизмом советских людей от вражеских рук, знамени, которое возрожденный полк с боями пронес через всю Украину в Румынию, а потом от Тарнополя через Польшу, через пять немецких провинций в Берлин.

И, отдавая этому знамени воинские почести, полк вместе с теми, кто с честью пронес его по дорогам войны в столицу врага, чтит и тех, кто сберег полковую святыню.

1943 — 45 гг.

Содержание

Последний день Матвея Кузьмина................. 3
Гвардии рядовой...10
Номер «Правды».. 22
Мы — советские люди.................................... 28
Редут Таракуля..43
Знамя полка.. 55

Для среднего возраста

Полевой Борис Николаевич

ЗНАМЯ ПОЛКА

Рассказы

Ответственный редактор Е. М. Подкопаева. Художественный редактор Е. М. Туркова. Технический редактор З. М. Кузьмина. Корректоры Г. В. Русакова и Э. Л. Лофенфельд. Сдано в набор 23-IX 1967 г. Подписано к печати 14-II 1968 г. Формат 70х92 $^{1}/_{16}$. Печ. л. 4. Усл. печ. л. 4,68. (Уч.-изд. л. 3,88). Тираж 300 000 экз. ТП 1968 № 286. А05618. Цена 13 коп. на бум № 2.
Издательство "Детская литература". Москва, М. Черкасский пер., 1.
фабрика „Детская книга“№ 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 1684.


Цена 13 коп.